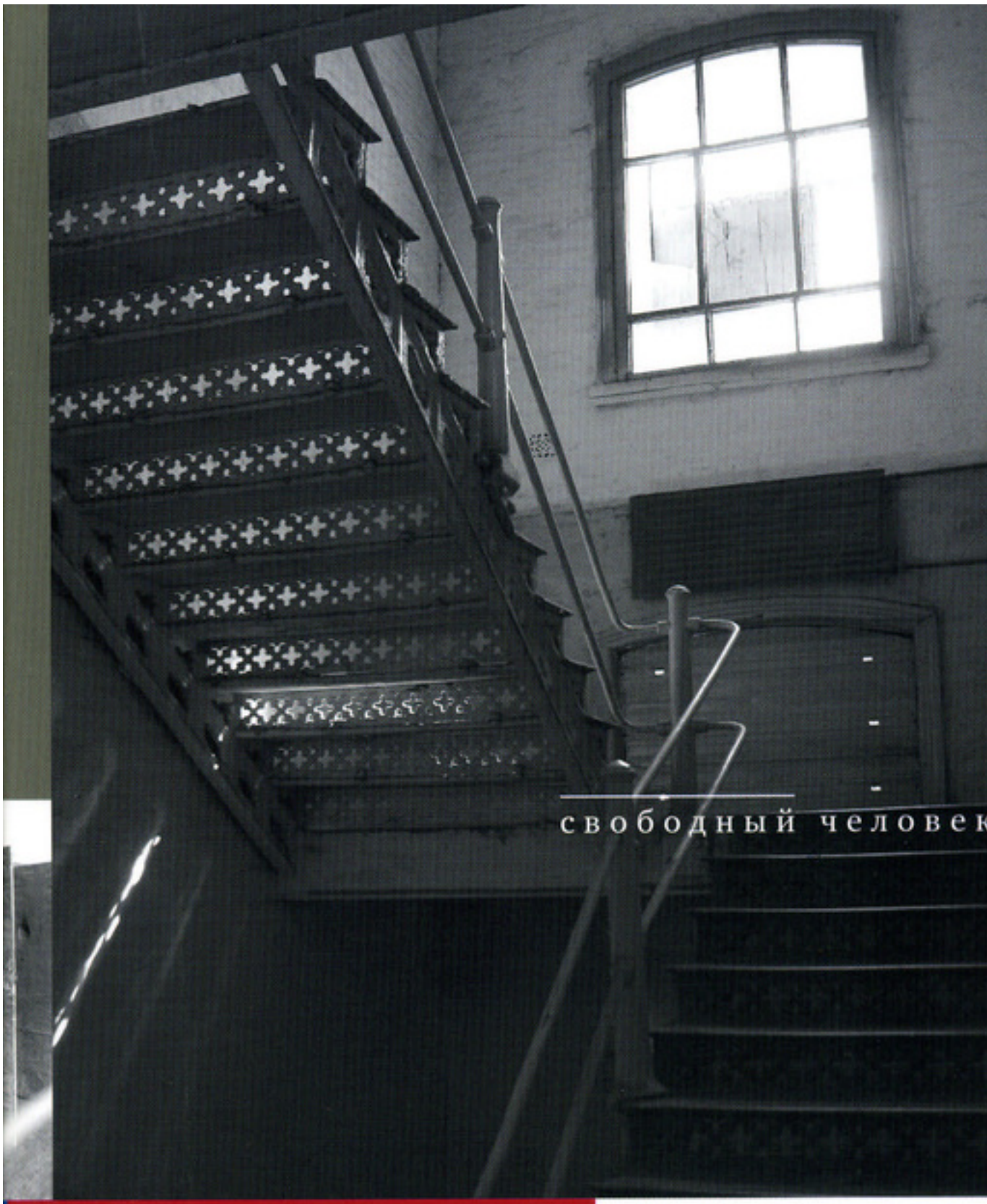

свободный человек

Владимир Буковский

«И возвращается ветер.

Владимир Буковский

И возвращается ветер...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3084055
И возвращается ветер…: Новое издательство; Москва; 2007
ISBN 978-5-98379-090-2

Аннотация

Автобиографическая книга знаменитого диссидента Владимира Буковского «И возвращается ветер…», переведенная на десятки языков, посвящена опыту сопротивления советскому тоталитаризму. В этом авантюрном романе с лирическими отступлениями рассказывается о двенадцати годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объединениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника Маяковскому и демонстрациях в защиту осужденных, о слежке и конспирации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве, – о том, как быть свободным человеком в несвободной стране. Владимир Буковский – кандидат в президенты России на выборах 2008 года.

Содержание

Предисловие 4
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Владимир Буковский
И возвращается ветер…

Предисловие

Книга не принадлежит автору, а, выйдя из его рук, живет своей судьбою, от автора не зависящей. Мы лишь запускаем ее в мир, как бумажный кораблик по весеннему ручейку, а уж к каким берегам его прибьет, где он застрянет, где проскочит – того нам не угадать.

Приключения начались уже с названия. Первоначальный вариант – «И возвращается ветер…» – подсказал мой старый солагерник, а тогда обитатель Земли Пророков, Иосиф Мешенер. Однако, кроме Франции и Италии, этот вариант нигде не прижился. Особенно упорно спорили английские и американские издатели: в их странах, видите ли, никто Книги Екклесиаста не знает. Так появилось новое название – «To Build a Castle» («Построить замок»), – подсказанное Татьяной Максимовной Литвиновой.

Немцам же не понравились оба варианта, и они придумали свое, этакое длиннющее немецкое словечко, в переводе означающее «Тот-самый-ветер-который-дует-с-гор-когда-на-реках-ломается-лед». Голландцы и того хуже, ни слова мне не сказав, попытались объединить оба символа, и получился у них не то за́мок под ветром, не то ветер под замко́м. Ну, а что там насочиняли японцы, я, видимо, никогда не узнаю.

Так и поплыл мой кораблик, меняя на ходу флаги. В одних странах его встречали бурно, в других он прошел незаметно, и я наконец потерял его из виду, как вдруг он объявился в Польше, в самый разгар военного положения или, как тогда говорили, «Польско-Ярузельской войны». Издатели, подпольная еще в то время «Солидарность», прислали мне в подарок несколько копий, поразивших меня завидным качеством их подпольной печати. И даже теперь, четверть века спустя, когда я попадаю в Польшу, неизменно подходят пожилые уже теперь люди, просят надписать эти пожелтевшие, истертые книжки.

Проникнув же за «железный занавес», закрутился кораблик по бурным водам Восточной Европы. То там мелькнет, то тут проскочит, уследить невозможно. Добрался и до России, успев как раз ко времени крушения советского режима. Помню, тогда меня немало беспокоило то, что в книге я назвал много имен и стукачей, и наседок, и следователей, да и просто людей сломавшихся. Подумал даже, не попросить ли редакцию заменить эти имена буквами. Наверняка, думал я, найдутся ведь теперь такие «мстители», что и разыщут, и обличат, и до детей их докопаются. Меньше всего мне хотелось, чтобы моя книга только добавила ненависти в стране, где уже и так накопились ее многие мегатонны. Не затем я писал ее, чтобы кого-то обличать и требовать к ответу.

Это ведь не обвинение, а свидетельство, причем свидетельство того, что в конечном счете все зависит от нас самих, ибо человек всегда свободен, всегда у него есть выбор и, стало быть, всегда он несет ответственность за происходящее. А уж коли сотворилось в нашей стране такое чудовищное зло, на каждом из нас есть крупица вины. Больше ли, меньше ли – кто это взвесит?

В этом и была, если хотите, философская суть нашего движения, наша программа. И что бы ни говорили в свое время многие мои друзья, коим не терпелось объявить наступившие в стране перемены *нашей* победой, программа эта осталась невыполненной. Общество не пошло за нами, не осознало ни своей свободы, ни своей ответственности, а, получив гласность сверху, в качестве подарка, так и не знало, на что бы такое употребить ее. Промучившись так с десяток лет, сами же и выбрали себе в правители привычных старых палачей, сразу избавившись ото всех трудных вопросов.

Но каким же ветром несет теперь мой кораблик опять в Россию? К добру ли, к худу ли? Кому и зачем в этой, казалось бы, уже обреченной стране нужно теперь мое свидетельство о свободе? Конечно, коль скоро в стране возрождается тирания, люди вновь задаются вопросом, что ей можно противопоставить. Вот только готово ли общество – в большинстве своем отвергшее наши решения и тридцать, и двадцать, и десять лет назад – принять их сейчас? Неужели теперь, на пороге гибели страны, произойдет чудо и возникнет из хаоса новое племя бунтарей, которые сделают то, на что их трусливым отцам духу не хватило, – покончат с остатками тоталитарного режима, превратившегося в мафию, отстранят поколения, испорченные десятилетиями рабства, и начнут строить новое общество? Увы, трудно в это поверить.

Впрочем, разве мы когда-нибудь рассчитывали на победу? Да нет, мы просто выполняли свой долг. Несчастна страна, где простая честность воспринимается в лучшем случае как героизм, в худшем – как психическое расстройство. В такой стране земля не родит хлеба. Горе тому народу, в котором иссякло чувство достоинства. Дети его родятся уродами. И если не найдется в той стране, у того народа хотя бы горстки людей, да хоть бы и одного, чтобы взять на себя их общий грех, никогда уже не вернется ветер на круги своя.

По крайней мере, я так понимал свой долг и потому ни о чем не жалею.

Кембридж, декабрь 1989 – август 2007

Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире.

Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдаль камер, колотя ключами в дверь: «Падъ-ем! Падъ-ем! Падъ-ем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. Провались ты со своим подъемом!

Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва! Доброе утро, товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте». Черт, поскорее выключить! Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте.

Зимнее смурное утро и на воле-то приходит, точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, и этот день впереди – как проклятье. Недаром поется в старой арестантской песне:

Проснешься утром, город еще спит.
Не спит тюрьма – она давно проснулась,
А сердце бедное так заболит,
Как будто к сердцу пламя прикоснулось.

По заснеженному двору от кухни прогрохотал «тюрьмаход» – тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся – недодали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались – завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору в

другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта.

Обычно по утрам, после завтрака, повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял – утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом, уже днем, брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка: «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого-то нам и не хватало, начался проклятый денечек. Собирайся, да тащись, да устраивайся на новом месте – пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность.

– Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду? – Это уже наша разведка. Если матрацы брать – значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать – значит, на другой, а куда? Если матрасовки брать – значит, на первый или на третий: на втором свои дают и посуду тоже.

– Все забирайте с собой, – говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем, поволокут на строгий режим, на пониженную норму. А может, просто шмон? Это вот не дай Бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона, всякие запрещенные вещицы – ножичек, несколько лезвий, шильце самодельное. Все сейчас заметут.

И заметались все! У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть – может, не найдут. В сапог тоже можно – да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги – пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал.

– Начальник! Звони насчет сапогов – в ремонте у меня сапоги. Без сапогов не пойду, начальник!

Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли – и на тебе! Вернуть бы живыми, не до ремонта теперь, все к черту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели – к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда ж это, однако, нас гонят?

Барахла у меня скопилось жуть, полная матрасовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме? А и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали назад в лагеря и бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протащить через шмоны. Каждая лишняя вещь – ценность. Вот три иностранных лезвия – за каждое из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере – три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Тетради общие – тоже ценность, поди их достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек, главное же – книги, не дай Бог шмон! Все это богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не мог исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру – не везло.

Но, в общем-то, похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие – на новом месте все очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них, как после погрома: камера грязная, все побито и поломано, дня два чинить и чистить, мыть да скрести – и ни тряпок, ни мыла у них обычно не водится, поэтому даже половую тряпку забрали мы с собой.

Тьфу, ну, кажется, собрались. «Готовы?» – кричит начальник из-за двери. «Готовы!»

Дверь открылась, и корпусной вдруг, указав на меня пальцем, сказал коротко: «Пошли со мной». Мать честная, куда же это? Не иначе как в карцер. И, цепляясь в уме за всякие возможности и варианты, спросил я только: «Матрац брать?» – «Бросьте в коридоре». Так и есть, карцер. За что ж это? Ничего же не делал. Голодовку объявлю!

Спускаемся вниз, на первый этаж, поворачиваем не к выходной двери, а в коридор – так и есть, карцер! Нет, прошли мимо, идем по коридору. Значит, шмон, к шмоналке идем. Ну, холера, сейчас все отберут. Как бы им голову заморочить? Говорю первое попавшееся: «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» – «Послали уже». Послали? Зачем же послали за сапогами, если только шмон? Может, этап?

Заходим в комнату для шлюпов. Там уже шмонная бригада Петухова – ждут, как шакалы, сейчас все отметут. «Так, – говорят, – мешок положите здесь, а сами раздевайтесь». Раздели, как водится; ощупали каждую вещь по швам, в телогрейке одно лезвие было спрятано – не заметили, слава Богу, неделя жизни кому-то. «Одевайтесь». Выводят в коридор, запирают в этапку. Черт, значит, этап! Как же я потащусь со своим барахлом по этапу? Я и сам-то еле двигаюсь. И пропадет теперь все – на каждой пересылке шмон. Как обухом по голове. Куда бы это? Эх я дурак, тряпку половую взял и мыло. Сапоги! Заиграют сапоги, потом ищи. «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» – «Послали уже».

Надо хоть ребятам дать знать, но как? Этапка самая крайняя, надо мной никого, унитаза нет, кружки у меня нет, тьфу! Написал карандашиком на стене по-английски: «Этапирован неизвестно куда», фамилию и число. Но этого мало – когда еще заметят? Надо бы крикнуть как-то. Может, в баню поведут перед этапом? Но вот уже открывается дверь – так скоро? А баня? Нет, идем к выходу. Поворачиваем за угол, идем к вахте. Ну, только здесь и крикнуть. Пятнадцатая камера как раз надо мной. Изо всех сил заорал я вдруг, аж Киселев отпрыгнул от меня со страху.

– Пятнааадцатая, Егооор, меня на этап увозят! На этап забрали! Пятнааадцатая!

Тут они опомнились и втолкнули меня в двери вахты: – Тише, что орешь? В карцер захотел? – Какой карцер… Ври, начальник, не завирайся, где ты меня на этапе в карцер посадишь?

В большой комнате на вахте – не то в красном уголке, не то в раздевалке для надзирателей – посадили на стул. «Сидите!» Тут появился наш воспитатель, капитан Дойников, какой-то сам не свой, торжественно-грустный. Я к нему: «Гражданин начальник, куда?» – тихо так, чтоб никто не слыхал. Мнется, глаза отводит: «Не знаю, нет, право, не знаю. На этап». – «Да бросьте вы все темнить, тайны разводить – куда?» – «Честно, не знаю, не мое дело. Сказали, на этап – в Москву, наверно». Знает все, бес, по лицу видно. «А вещи мои?» – «Уже в машине». Неслыханно! Кто же это за меня вещи таскает, неужто конвой? Да, сапоги. «Скажите, чтобы сапоги принесли, сапоги у меня в ремонте». – «Принесут». – «Да как принесут? Уже на вахте, сейчас ехать!»

А он так тихо вдруг говорит: «Не нужны вам больше сапоги». Что бы это значило? Как так может быть, чтоб сапоги не нужны были? И я ему тихо: «Откуда же вы знаете, что сапоги не нужны, если не знаете, куда еду?» Смутился.

Не надо было этого говорить, и так понятно, что творится нечто необычное: этапы никогда с вахты не отправляют, а прямо внутрь воронок заходит, там и грузят. И вещи сами снесли, и сапоги не нужны, на волю, что ли, освобождать, что ли, будут? А может – наоборот? Тогда тоже сапоги не нужны.

– Ну что ж, прощайте, не поминайте лихом, – говорит капитан. Ведут прямо к выходу на волю, открывают дверь. Оглядеться не дают – вокруг люди в штатском. А, КГБ! Понятно – не на волю, значит. «Сюда, пожалуйста, в машину». Прямо у ворот стоят микроавтобус и какие-то легковые машины. Снег утоптанный, темный. Где же воронок? Нет, сажают в микроавтобус – чудеса! Внутри, на заднем сиденье, лежит мой мешок в

тюремной матрасовке. Окна плотно зашторены, вокруг кагебешники в штатском. Предупреждают: в дороге шторы не трогать, в окно не выглядывать. Спереди, между нами и шофером, тоже шторки плотно задернуты, но снизу не прикреплены, болтаются – значит, на ходу будут трепыхаться, что-нибудь да увижу. Ждут еще какого-то начальника, он садится спереди, с шофером, хлопает дверца, колышутся шторки – тронулись. Развернулись, повернули еще раз, пошли.

Эх, черт, слышали ребята или нет? Должны были слышать – орал я громко. Куда же, однако, меня везут? В Москву? Дойников сказал – в Москву. Но мог и соврать. А куда же меня везти? Почему в микроавтобусе, а не в воронке? Почему не нужны сапоги? А что, очень даже могут. Завезут сейчас в лесок за городом и – при попытке к бегству…

Машина же наша неслась тем временем с сумасшедшей скоростью. Шторки спереди вздрагивали, развевались, и, к удивлению своему, я вдруг заметил впереди нас милицейскую легковую машину с мигающим фонарем на крыше. В ней два офицера милиции. Один, высунув из окна руку с палочкой, разгонял с нашего пути машины. Что за дьявол – может, случайное совпадение? Нет, минут через пять вновь сильно всколыхнулись занавески спереди и вновь та же машина с тем же фонарем. Покосившись украдкой назад, увидел я равномерное мелькание света на задних шторках – значит, и сзади шла милицейская машина. А мы неслись и неслись вперед на предельной скорости, даже боязно становилось – не перевернуться бы, зима все-таки, скользко. И вновь на повороте взметнулись шторки, и все та же милицейская машина впереди. Сзади же свет мелькает непрестанно. Да, вот это чудеса! Так только члены правительства ездят. Никогда еще меня так не этапировали. Куда же это они меня?

Чекисты же мои переговаривались между собой, на меня взглядывали редко, только двое, что сидели с боков от меня, были настороже. И как ни вглядывался я в их лица да в дороги впереди сквозь щель в занавесках – ничего не мог почерпнуть нового. Ну что ж, в лесок так в лесок, в Москву так в Москву – что я мог поделать, что предпринять? Ну стало быть, и думать об этом нечего – что будет, то будет.

Оставалось мне сидеть совсем немного – всего каких-нибудь пять месяцев здесь, в тюрьме, а потом – в Пермскую область, в свой родной 35-й лагерь, примерно на десять месяцев. Это – как праздник, все равно что домой. Уже прикидывал я, кого застану из ребят, а кто освободится к тому времени. Глухо доходили новости от вновь прибывающих – что-то там в зоне делается, какие новые порядки, какое теперь начальство. Потом же, в марте 78-го, предстояло мне еще в ссылку. Эти вот несчастные пять лет ссылки раздражали меня больше всего срока, как ненужный довесок – ни то ни се, ни свобода, ни тюрьма. Да еще смотря куда пошлют, какая там будет работа, какое начальство. А то и хуже лагеря. Известно было, что из пермских лагерей отправляют на ссылку в Томскую область, а там известно что: повал, болота, глухомань, закон – тайга, медведь – хозяин. Из Владимира же шли на ссылку в Коми, и хоть Коми тоже не мед, тоже повал и болота, но как-то ближе к Москве – все-таки Европа.

Поэтому прикидывал я, нельзя ли еще раз исхитриться вернуться из лагеря во Владимир. Надежды было мало, ходили слухи, что по новой инструкции тех, кому осталось меньше года, в тюрьму не посылают. Предписано воспитывать на месте своими средствами. Оставшиеся же пять тюремных месяцев расписаны были у меня вперед: какую книжку и когда я должен успеть прочесть. В лагере уже не почитаешь – успевай поворачивайся. Да и в ссылке не до того будет. Когда же еще и заниматься, как не в тюрьме – и времени не жалко, все равно уходит даром.

Как ни кинь, выходило, что других университетов, кроме Владимирской тюрьмы, у меня уже не будет. Если даже не намотают мне нового срока, то выйду я из ссылки в 83-

м году, и будет мне сорок один год – совсем не возраст для обучения. Да и на воле ничего хорошего меня не ждало. Это только новичок, который первый раз сидит, – тот воли ждет да дни считает. И кажется ему эта воля чем-то светлым, солнечным и недостижимым. Я-то сидел уже четвертый раз и знал, что нет большего разочарования в жизни, чем освобождение из тюрьмы. Знал я также, что больше года мне на этой проклятой воле никогда не удавалось продержаться и никогда не удастся. Потому что причины, которые загнали меня в тюрьму в первый раз, загонят и во второй, и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было.

Потому-то, освобождаясь каждый раз, я думал только об одном – как бы успеть побольше сделать, чтобы потом, уже снова в тюрьме, не мучиться по ночам, перебирая в памяти все упущенные возможности, чтобы не казниться, не терзаться, не стонать от злости на свою нерешительность. Эти вот бессонные терзания были в моей жизни самым мучительным, и оттого короткие промежутки моей свободы никак нельзя было назвать нормальной жизнью. Это была лихорадочная гонка, вечное ожидание ареста, вечные агенты КГБ, дышащие в затылок, и люди, люди, люди, которых не успеваешь даже разглядеть как следует. Если ты встретился с человеком один раз и он тебя не продал, ты уже считаешь его хорошим знакомым, если два – близким другом, три – закадычным приятелем, как будто ты с ним полжизни прожил бок о бок.

А встретив человека в первый раз, неизбежно смотришь на него как на будущего свидетеля по твоему будущему делу. Неизбежно прикидываешь: на каком допросе он расколется – на первом или на втором? На каких его слабостях попытается играть КГБ? Робкий – значит, запугают, самолюбивый – постараются унизить, любит детей – пригрозят забрать детей в интернат. И смотришь ему в глаза вопросительно: выдержит или не выдержит, когда припугнут сумасшедшим домом? Редко кто выдерживает. А потому не отягощай память ближнего излишней информацией, не ставь его перед необходимостью мучиться потом угрызениями совести. Ты прокаженный, ты не имеешь права на человеческую жизнь, каждый, кто коснулся тебя, рискует заразиться, и если ты действительно любишь кого-то – избегай его, сторонись, делай вид, что не узнал, не заметил. Иначе завтра ему на голову обрушится вся мощь государства.

И потому-то, втискивая 25 часов в сутки, растягивая неделю в месяц, ты должен сделать максимум возможного и даже невозможного, потому что завтра ты опять будешь в лефортовской камере и долго потом ничего не сможешь сделать – может быть, никогда. Опять будешь по ночам перебирать в памяти все, что упустил, что мог сделать лучше и сильнее, будешь казнить себя за нерасторопность. Ведь столько десятилетий люди ничего не могли сделать – даже плюнуть в морду тем, кто их убивал. И миллионы их сгинули, мечтая хоть чем-нибудь отплатить за свои мучения. А у тебя была возможность кричать на весь мир, были друзья, на которых можно положиться, было время – что ты успел сделать? И миллионы мертвых глаз будут обжигать тебе душу укоризненными вопрошающими взглядами.

В Сибири мне рассказывали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку – обычно мясо с тухлинкой. А на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду так, чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачивалась на канате. Медведь, чуя приманку, лезет на ствол и встречает на пути колоду. По своей медвежьей натуре он даже не пытается эту колоду обойти, а отодвигает ее в сторонку и лезет дальше. Колода, качнувшись в сторону, бьет медведя в бок. Мишка ярится, толкает колоду сильнее, та, естественно, бьет его еще сильнее, медведь – еще сильнее, колода – еще сильнее. Наконец, колода бьет его с такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями: чем больший срок мне давали – тем больше я старался сделать после освобожде-

ния, чем больше я делал – тем больший срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать не собирался.

Выходило, таким образом, что не только эти пять месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь: десять месяцев в лагере, пять лет в ссылке, потом – в лучшем случае – год лихорадки, называемой свободой, затем еще десять лет тюрьмы и еще пять ссылки. Это уже, кажется, мне будет 57 лет? Ну, еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходило опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал того джинна из сказок «Тысячи и одной ночи», которого посадили в бутылку, – и первые пять миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит. А вторые пять миллионов лет – уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны.

Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий: сама тюрьма.

Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимания на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж, во всяком случае, утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде впадает человек в какое-то странное состояние, полудрему-полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей, или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа.

Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными, монотонно повторяющимися событиями: подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой – сливается в какое-то желто-бурое пятно, не оставляющее никаких воспоминаний, ничего, за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек, хоть убей, не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул: батюшки, опять баня! – это значит семь, а то и десять дней пролетело. Так и живешь с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно: казалось, уже год прошел – ан нет, все еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно.

Опять же становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, с нового месяца водят гулять не после завтрака, а после обеда. Какая, казалось бы, разница, однако это доводит до бешенства, почти до исступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитатель, а ты с ним завелся – и вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж трясет всего. Ну что, казалось бы, необыкновенного? Этих споров, этих бесед, этой ругани с надзирателями было в твоей жизни столько, что и сосчитать невозможно. Однако несколько дней и ночей ты будешь перебирать в уме, что сказал он, что ты ответил, что мог ты сказать, да не сказал, не сообразил сразу. И как бы ты мог его особенным образом поддеть или обрезать, ответить более ехидно или более убедительно. Словно испорченная пластинка, этот разговор все крутится и крутится в мозгу, и нет сил его остановить. Или вот получишь из дому открытку какую-нибудь цветистую и смотришь,

смотришь на нее, как идиот, и так дико видеть разные непривычные цвета, что оторваться не можешь.

Нельзя сказать, чтобы голод был очень мучителен – это ведь не острый голод, а медленное хроническое недоедание. Поэтому очень скоро перестаешь ощущать его резко, остается нечто монотонно сосущее наподобие тихой тянущей зубной боли. Даже перестаешь понимать, что это голод, а так, через несколько месяцев, замечаешь вдруг, что стало больно и неловко сидеть на лавке и ночью, как ни ляг, все что-то жмет или давит – уж и матрац несколько раз перетрясешь, и ворочаешься с боку на бок, а все неловко. Только так и ощущаешь, что кости вылезли. Но это тебе как-то даже безразлично. Да еще с койки вставать не надо резко – голова кружится.

Самое же неприятное – это ощущение потери личности, точно проволокли тебя мордой по асфальту и совсем не осталось никаких характерных черт и особенностей. Словно твою душу со всеми ее изгибами, извивами и потайными углами да узорами прогладили гигантским утюгом, и стала она плоская и ровная, как картонная манишка. Затирает тюрьма. От этого каждый человек норовит как-то выделиться, проявить свою индивидуальность, оказаться выше других или лучше. У блатных в камерах постоянные драки, постоянная борьба за лидерство, убийства даже бывают. У нас, конечно, этого нет, но через четыре-пять месяцев сидения в одной и той же камере с одними и теми же людьми становятся они тебе до омерзения понятны, так же, видимо, как и ты им. В любой момент знаешь, что они сейчас сделают, о чем думают, о чем спросить собираются. А чаще всего в камере и не говорят ни о чем, потому что все друг о друге знают. И удивляешься: как же малосодержательны мы, люди, если через полгода уже и спросить друг у друга нечего.

Особенно же тяжко, если есть у твоего сокамерника какая-нибудь бессознательная привычка – например, носом шмыгать или ногой постукивать. Уже через пару месяцев совершенно невмоготу становится, убить его готов. Но вот развели вас в разные камеры или попал ты в карцер, и через некоторое время встречаетесь вы как родные: сразу куча вопросов, рассказов, новостей, воспоминаний – праздник на неделю. Бывает, конечно, и полная психологическая несовместимость, когда люди и двух дней в камере не могут прожить, а жить им предстоит так годами. Вообще же все человечество делится на две части: на людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы. Но ведь никто твоего согласия не спрашивает. Поэтому необходимо быть предельно терпимым к своим сокамерникам и в то же время подавлять свои привычки и особенности: ко всем нужно приспособиться, со всеми поладить, иначе жизнь станет невыносимой.

Помножьте теперь все эти тяготы на годы и годы, возведите их в квадрат, добавьте сюда все те годы, которые вы просидели до этого, в других лагерях и следственных тюрьмах, и тогда вы поймете, почему нужно занять каждую свою минуту постоянным делом – лучше всего изучением какого-нибудь сложного, запутанного предмета, требующего громадного напряжения внимания. От постоянного электрического света веки начинают чесаться и воспаляются. Десятки раз читаешь одну и ту же фразу, но никак не можешь ее понять. С огромными усилиями одолеваешь страницу, но только ты ее перевернул – уже ни звука не помнишь. Возвращайся назад, читай двадцать, тридцать раз одно и то же, не позволяй себе курить, пока не осилишь главу, не позволяй себе ни о чем думать, мечтать или отвлекаться, не позволяй себе даже сходить в туалет – для тебя нет ничего важнее на свете, чем выполнить то, что наметил на сегодняшний день. А если назавтра ты ничего не помнишь – бери и читай заново. И если ты кончил книгу, можешь позволить себе один выходной день, только один, потому что уже на второй память начинает слабеть, внимание рассредоточивается и ты опять медленно погружаешься, уходишь под воду, точно утопающий, – глубже, глубже, пока не начнет звенеть в ушах, а цветные круги не поплывут перед глазами. И еще неизвестно, вынырнешь ли ты.

Особенно заметно это в карцере, в одиночке: ни книг, ни газет, ни бумаги, ни карандаша. На прогулку не водят, в баню не водят, кормят через день, окна практически нет, лампочка где-то в нише, в стене, у самого потолка, еле-еле потолок освещает. Один выступ в стене – твой стол, другой – стул, больше десяти минут на нем не просидишь. Вместо кровати на ночь выдается голый деревянный щит. Теплой одежды не полагается. В углу параша, а то и просто дырка в полу, из которой целый день прет вонь. Словом, цементный мешок. Да еще курить запрещено. Грязь вековая. По стенам кровавая харкотина, потому что туберкулезников сюда тоже сажают. Вот тут и начинается твой спуск под воду, на самое дно, в самую тину. Так в тюрьме это и называют: спустить в карцер, поднять из карцера.

Первые дня три еще шаришь по камере, ищешь – может, кто до тебя ухитрился пронести махорки и спрятал остатки, может, окурки где заначил. Все ямки и трещинки облазаешь. Еще существуют для тебя ночь и день. Днем все больше ходишь взад-вперед, а ночью стараешься заснуть. Но холод, голод и однообразие берут свое. Дремать можно лишь минут десять-пятнадцать, затем вскакиваешь и минут сорок бегаешь, чтобы согреться. Потом опять дремлешь минут пятнадцать – или привалясь на щит (ночью), или подвернув под себя ногу, прямо на полу, спиной упершись в стену (днем), затем опять вскакиваешь и полчаса бегаешь.

Постепенно чувство реальности совершенно утрачивается. Тело деревенеет, движения становятся механическими, и чем дальше, тем больше превращаешься в какой-то неодушевленный предмет. Трижды в день дают кипяток, и этот кипяток доставляет несказанное наслаждение, точно оттаивает все у тебя внутри и временно возвращается жизнь. Все в тебе наполняется сладкой болью – минут на двадцать. Дважды в день перед оправкой дают клочок старой газеты, и уж этот клочок ты прочитываешь от первой до последней буквы, причем несколько раз. Перебираешь в памяти все книжки, какие читал, всех знакомых, все песни, какие слушал. Начинаешь складывать или множить в уме цифры. Обрывки каких-то мелодий, разговоров. Время абсолютно не движется. Ты впадаешь в забытье, то вскакиваешь и бегаешь, то опять дремлешь, но это не разнообразит жизнь. Постепенно пятна грязи на стене начинают сливаться в какие-то лица, точно вся камера украшена портретами сидевших здесь до тебя зэков. Галерея портретов твоих предков.

Можно часами их разглядывать, расспрашивать, спорить, ссориться и мириться. Через некоторое время и они уже не вносят разнообразия. Ты знаешь о них все, точно просидел с ними в одной камере полжизни. Некоторые раздражают тебя, с некоторыми еще можно перекинуться словцом. Есть такие, которых нужно сразу обрезать, иначе они становятся слишком навязчивыми. Они будут нудно и монотонно рассказывать никчемные подробности своей никчемной жизни. Они будут врать и приукрашивать свою жизнь, если заметят, что ты их не слушаешь. Они услужливы и суетливы до омерзения. Другие молчат и угрюмо поглядывают исподлобья – с ними держи ухо востро: только заснешь, они могут и пайку стянуть. Есть и дружелюбные, общительные ребята, обычно помоложе, с которыми и пошутить можно. Они покладисты, никогда не унывают и за компанию готовы удавиться. Такие обычно сидят за хулиганство, групповое изнасилование или групповой грабеж. В углу, над парашей, живет старый вор-законник. Он сразу же начинает интриговать, настраивать разные группки друг против друга и всех их против тебя. Шушукается с ними по углам, обменивается какими-то многозначительными взглядами. Важно и авторитетно, ни к кому конкретно не обращаясь, он травит бывальщину: рассказывает о пересылках, о лагерях, об убийствах. Он явно провоцирует конфликт в камере, хочет установить свой порядок. Он знает, кому что положено, а кому не положено. С ним не избежать серьезной стычки, и лучше это делать сразу, пока он не сколотил своей группировки, пока его авторитет не утвердился. Но и это все тонет, стирается и оставляет тебя один на один с вечностью, с небытием.

Трудно понять, где кончаешься ты и начинается эта бесконечность. Тело твое – уже не ты, мысли твои тебе не принадлежат, они приходят и уходят сами собой, не повинуясь твоим

желаниям. Да и есть ли у тебя желания? Я абсолютно уверен, что смерть – это не космическая пустота, не блаженное ничто. Нет, это было б слишком успокоительно, слишком просто. Смерть – это мучительное повторение, нестерпимое одно и то же. А потому возникает навязчивый, однообразный не то сон наяву, не то размышления во сне.

В первой серии события происходят среди сложных, гудящих станков, монотонно двигающих рычагами. Огромные ножи с лязгом и свистом опускаются со всех сторон. Крутятся шестеренки, зубчатые колеса, с грохотом брякаются гигантские стальные кулаки. Каждую секунду тебя может рассечь пополам, сплющить в лепешку или затянуть в огромные шестерни. Ты в постоянном движении: то отскакивая в сторону, то отшатываясь назад, то пригибаясь, ты стараешься выбраться из этих механических, металлических, рычащих джунглей. У этих машин, ножей и рычагов нет никакого ритма, никакой закономерности. Сплошной хаос. И ты должен угадать чутьем, в какую сторону тебе прыгнуть, чтобы не быть раздавленным. И ни на секунду нельзя остановиться, ибо там, где ты только что стоял, уже пронесся многотонный стальной молот и от его удара все вздрогнуло. А сзади, сверху, сбоку уже свистит, шипит и грохочет. Так проходят тысячи лет. Но это только первая серия.

Во второй серии совершается какая-то постыдная церемония. В огромном здании по бесконечным залам и переходам движется нескончаемый поток людей. Страшная давка. Все хотят пробиться вперед, туда, где происходит главное таинство. Неестественный свет озаряет этот поток толкающихся людей. Но все происходящее исполнено какого-то омерзительного значения: что-то позорное, нестерпимо постыдное – толпа голых людей всех возрастов с уродливыми телами. И ты среди них. Все это происходит под однообразную повторяющуюся мелодию – не то хорал, не то заклинания, которым подчиняются все ваши движения. Так еще тысячи лет.

В третьей серии – не то комната, не то шахматная доска. Не то люди, не то шахматные фигуры, потому что все вы связаны очень сложными психологическими отношениями. От каждого твоего слова или малейшего движения зависит, что сделают они, а это, в свою очередь, влияет на тебя, на всех и на каждого. Поэтому каждый из присутствующих должен постоянно производить в уме невероятно сложные расчеты, учитывая всевозможные решения остальных. И этим расчетам нет конца, как нет конца числу возможных комбинаций. Вы все сосредоточенны и напряженны, вы считаете, предполагаете, допускаете, опровергаете, пересчитываете, комбинируете. Так до бесконечности, потому что вы сцеплены намертво тканями взаимоотношений. При этом каждый старается выглядеть совершенно беззаботным.

Тут ты вскакиваешь на ноги и начинаешь бегать из угла в угол, взад-вперед, туда-сюда, потому что все тело затекло и онемело. Так бегаешь и бегаешь, пока однообразие стен и твоих собственных движений не возвратит тебя опять в первую серию, в машинное отделение с его ножами, молотами, колесами и рычагами. Так проходят целые эпохи, и все становится омерзительно: все, что внутри тебя, и все, что снаружи, – все это известно заранее, измусолено твоими взглядами и размышлениями. Сам себе человек становится противен до тошноты – только уйти от самого себя некуда. Эта вот мучительная пустота долго потом не заживает в сознании, как открытая рана, и только много спустя становится она шрамом в душе. Ничего не остается в памяти от этого времени – провал.

Один раз мне сказочно повезло – я нашел примерно полпачки махорки, аккуратно спрятанной в щель в стене. Полпачки отсыревшей махорки… Но лучше б я ее не находил, эту чертову махорку! Потому что, с одной стороны, негде было взять спичек, с другой же – нестерпимо захотелось курить. Сотни раз я обшаривал всю камеру, но спичек не нашел. Оставался только один способ прикурить – залезть на стену, под самый потолок, и клочок своей одежды при помощи какой-нибудь палочки просунуть сквозь решетку в нишу, а там аккуратно поло-

жить на лампочку. Минуты через три тряпка должна начать тлеть, и тогда от нее можно будет прикурить. Но как залезть на трехметровую высоту без единой точки опоры, да еще оголодавшему, ослабевшему человеку? Судя по некоторым пятнам и царапинам, было ясно, что мои предшественники как-то ухитрялись. И от этого желание закурить становилось нестерпимым. Половина следующей ночи ушла у меня на то, чтобы ногтями отщипнуть как-нибудь щепку от своего щита, причем щепку подлиннее, чтобы хватило ее от решетки ниши до лампочки. Затем с утра следующего дня начался штурм стены. Совершенно идиотское занятие – наскакивать на абсолютно голую стенку, с разбега ли, с места ли, цепляясь за нее ногтями, и буквально рычать от бессилия и беспомощности. Быть может, мои предшественники были выше ростом, сильнее или лучше подготовлены. Быть может, они были альпинистами. Но уже ничто не могло меня остановить, я ни о чем другом не мог думать, я совершенно озверел и дошел до исступления. Я поклялся или добиться своего, или расшибить себе голову об эту стенку.

Первый день кончился безрезультатно. Ночью я приставил щит к стене, вскарабкался под потолок и прикурил-таки от лампочки. Однако это не могло успокоить, это только дразнило меня кажущейся достижимостью, и с утра штурм возобновился. Так прошли еще один день, еще одна ночь, новый день и новая ночь. Я совершенно перестал существовать. Во мне осталось только одно желание – залезть на стенку. Ногти поломались и кровоточили, пальцы распухли, к ночи я обыкновенно изматывался настолько, что уже и по щиту не мог залезть с первого раза. Я срывался, падал, вставал и снова лез к лампочке, как лезут на свет насекомые. Я уже ничего не чувствовал – ни боли, ни холода, ни голода, – было только одно желание, существовавшее вне меня и помимо меня: залезть на ту проклятую стенку к этой чертовой лампочке. Я даже не понимал уже, зачем мне это нужно, и поэтому, когда на четвертый день, ценой невероятных усилий, взмахов, толчков и прыжков, я оказался вдруг под потолком, вцепившись мертвой хваткой в решетку ниши, я обнаружил, что щепка с клочком тряпки на конце давно выпала у меня из зубов и валялась на полу. Так и висел я, вцепившись в эту проклятую решетку, в десяти сантиметрах от лампочки и плакал.

Конечно же, я не мог вспомнить, какая именно комбинация движений подбросила меня на эту лампочку. Главное – цель была достижима. Для меня, с моим ростом, силами и способностями к альпинизму, это было достижимо. А потому еще два дня ушло на штурм. Да, к концу пятого дня я добился победы, полной и окончательной победы. И не было в моей жизни большего достижения, большей победы, которой мог бы я гордиться так, как этой. Каждый день потом, по три раза на день, карабкался я на эту стенку, чтобы прикурить маленький чинарик махорки. И стало это уже настолько обычным делом, что даже не могло нарушить монотонности моей жизни – обычного медленного погружения в мучительное, однообразно повторяющееся ничто.

Зная все это, старался я протащить в карцер кусочек карандашного грифеля, обычно спрятав его за щеку. И если мне это удавалось, то потом весь свой карцерный срок – на клочках газеты или прямо на полу, на стене – рисовал я замки. Не просто рисовал их общий вид, а ставил себе задачу: построить замок целиком, от фундамента, полов, стен, лесенок и потайных ходов до остроконечных крыш и башенок. Я обтачивал каждый камень, я настилал паркетные полы или мостил их каменными плитами, я обставлял залы мебелью, вешал гобелены и картины, зажигал свечи в шандалах и коптящие смоляные факелы в бесконечных переходах. Я накрывал столы и приглашал гостей, я слушал с ними музыку, пил вино из кубков, выкуривал потом трубку за чашкой кофе. Мы поднимались по лестницам, проходили из зала в зал, смотрели на озеро с открытой террасы, заходили на конюшню и смотрели лошадей, шли в сад, который тоже предстояло разбить и насадить всякие растения. Мы возвращались в библиотеку по наружной лестнице, и там, затопив камин, я усаживался в мяг-

кое кресло. Я листал старые книги в истертых кожаных переплетах с тяжелыми медными застежками. Я даже знал, что написано в этих книгах. Я мог читать их.

Этого вот занятия хватало мне на весь карцерный срок, и еще много вопросов оставались нерешенными до следующего раза – ведь иногда несколько дней уходило на обсуждение вопроса: какую картину повесить в гостиной, какие шкафы должны быть в библиотеке, какой стол поставить в обеденной зале? Я и сейчас с закрытыми глазами могу нарисовать его, этот замок, со всеми подробностями. Когда-нибудь я найду его… или построю.

Да, когда-нибудь я приглашу своих друзей, и мы пройдем вместе по подъемному мосту через ров, войдем в эти залы, сядем за столы. Будут гореть свечи и звучать музыка, а солнце будет тихо садиться за озером. Я прожил в этом замке сотни лет и каждый камень обточил своими руками. Я строил его, сидя под следствием во Владимире. Он спас меня от безразличия – от глухой тоски безразличия к живому. Он спас мне жизнь. Потому что ты не можешь онеметь, не имеешь права быть безразличным. Потому что именно в такой момент тебя пробуют на зуб. Это ведь только в спорте судьи и противники дают тебе обрести лучшую форму – грош цена этим рекордам. На самом деле самое большое испытание норовят навязать, когда ты болен, когда ты устал, когда особенно нужна передышка. Тут-то берут тебя и хрясь об колено! Именно в такой момент тебя, ошалелого, вытаскивает из подвала кум, ловец душ человеческих, или воспитатель на беседу.

О нет, они не станут прямо так, в лоб, предлагать сотрудничество. Им нужно пока гораздо меньше – каких-то мелких уступок. Просто приучить тебя к уступкам, к мысли, что надо идти на компромиссы. Они аккуратно щупают, дозрел ты или нет. Нет? – Ну что ж, иди в свой подвал, дозревай, у них впереди столетия.

Глупые люди! Они не знали, что я возвращаюсь к своим друзьям, к нашим прерванным беседам у камина. Откуда им было знать, что я разговаривал с ними, стоя на стене замка, сверху вниз, озабоченный больше проблемой благоустройства конюшен, чем их глупыми вопросами? Что они могут сделать против толстых каменных стен, против зубчатых башен и бойниц? И я, посмеявшись над ними, возвращался к своим гостям, плотно прикрывая за собой массивные дубовые двери.

Именно в такой момент, когда все безразлично, когда сознание онемело и только с тоской отсчитывает дни, в соседнем карцере кому-то становится плохо, кто-то теряет сознание и падает. И нужно колотить в дверь, скандалить и звать врача. За этот стук и скандал разъяренный гражданин начальник непременно продлит тебе карцерный срок. Поэтому молчи, уткнись головой в колени, скажи себе, что ты спал и ничего не слышал. Какое тебе дело? Ты его не знаешь, он тебя не знает, вы никогда не встретитесь. Ты ведь действительно мог не услышать. Но может ли себе это позволить обитатель замка?

Я откладываю книгу в сторону, беру свечу и иду к воротам, чтобы впустить в замок путника, которого застигла непогода. Какое мне дело, кто он? Даже если это разбойник, он должен обогреться у очага и переночевать под крышей. И пусть беснуется буря за воротами замка – ей не сорвать крыши, не пробить толстых стен, не задуть моего камина. Что она может, буря? Разве что выть и рыдать мне в трубу.

Тюрьма как общественный институт известна человеку с незапамятных времен, и смело можно сказать, что как только возникло само общество, так сразу же возникла и тюрьма. Видимо, с того же времени процветает литературный жанр тюремных воспоминаний, дневников, записей и заметок. Дело здесь не в том, что недавние обитатели тюрем – люди словоохотливые. Совсем напротив. Освободившийся из тюрьмы человек склонен скорее избегать общества или разговоров и больше всего любит тихо сидеть где-нибудь в одиночестве, неподвижно уставясь в одну точку. Но уж больно теребят его окружающие, задают кучу, как правило, самых нелепых вопросов, требуют все новых рассказов, и чувствует чело-

век, что не будет ему житья, пока не напишет он тюремных воспоминаний. За всю нашу историю по меньшей мере десятки миллионов людей побывали в тюрьме, и тысячи из них изложили на бумаге свои впечатления. Однако это не утолило жажды человечества, того вечного жгучего интереса, который неизменно возбуждает к себе тюрьма. Потому что с древнейших времен привык человек считать, что всего страшнее на свете – смерть, безумие и тюрьма. А страшное притягивает, манит, страх – всегда неизвестность. Ну в самом деле, вернись сейчас кто-нибудь с того света – то-то его вопросами замучают!

Три события, приходящие независимо от нашего желания, по воле рока, как бы взаимосвязаны. Если безумие – это духовная смерть, духовная тюрьма, то и тюрьма – подобие смерти, а чаще всего и приводит человека к смерти или безумию. Человека, попавшего в тюрьму, и оплакивают, как покойника, и вспоминают, как усопшего, – все реже и реже с течением времени, точно он и вправду не существует. Эти вот три страха, живущие в человеке, используются обществом для наказания непокорных. Точнее сказать, для устрашения остальных – ибо кто ж теперь всерьез говорит о наказании?

Понятно, что каждый член общества живо интересуется, чем же его пугают и что же с ним в самом деле могут сделать. И так это устрашающее назначение тюрьмы прочно засело в сознании людей, что все – от законодателя до надзирателя – считают само собой разумеющимся: в тюрьме должно быть скверно и тяжко. Ни дна тебе, ни покрышки быть не должно. Ни воздуха, ни света, ни тепла, ни пищи – это ж не курорт, не дом родной! Иначе вас и на волю не выгонишь, уходить не захотите! Особенно же возмущается общество, когда заключенный начинает заикаться о каких-то там своих правах или о человеческом достоинстве. Ну, представьте себе в самом деле, если грешники в аду начнут права качать – на что это будет похоже?

При этом как-то само собой забылось, что первоначально предполагалось не заключенных пугать, а тех, кто еще на воле остался, то есть само общество. И стало быть, это общество само себя теперь тем больше пугает, чем больше терзает заключенного. Они, следовательно, жаждут этого страха. Конечно, и тюремное население, как всякое порядочное общество, имеет свою внутреннюю тюрьму, называемую карцером, а кроме того – различные режимы содержания; менее строгие, более строгие, особо строгие. Поскольку даже в тюрьме человеку должно быть не безразлично, что же с ним станется. Всегда должно быть что-то, что можно еще у него отнять и чего он терять не хочет. Потому что человек, которому терять нечего, смертельно опасен для общества и является величайшим соблазном для всех честных людей – если, конечно, он не труп. И чтобы не завидно было остальному человечеству, чтобы не соблазнялись праведные души, все эти режимы и внутренние наказания рассчитаны таким образом, что последняя их стадия, когда человеку действительно терять нечего, подводит как можно ближе к состоянию естественной смерти. Потому-то знающий зэк не судит о тюрьме по фасаду или по общей камере – он судит по карцеру. Так и о стране вернее судить по тюрьмам, чем по достижениям.

Веками внутреннее устройство тюрем было примерно одинаково, и постороннему человеку, который придет на экскурсию, скажем, в Петропавловскую крепость, никак не понять, что же в ней особенного, в этой тюрьме. Койка как койка, стены как стены. Ну решетки на окнах. Так ведь на то же и тюрьма, чтобы не убежать. И книжки читать разрешали – чего ж еще желать. И уж совсем не понять постороннему человеку, что такое режим.

Какая, собственно, разница – час у тебя прогулки или полчаса, 450 граммов хлеба дают на день или 400, 75 граммов рыбы или 60? Это надо быть бухгалтером или поваром, чтобы подсчитать такое обилие цифр. Постороннему человеку одно только и интересно: умирали заключенные от всего этого или не умирали? Ах, не умирали – ну, так не о чем и говорить! Обычно самое сильное впечатление производят на посторонних сводчатые потолки и тол-

стые стены. Мрачно, страшно! Вот она какая, тюрьма-то, бррр… И сколько бы тюремных воспоминаний они ни прочли, никогда не понять им всех этих мелочей, всех этих пустяков.

Вот стоит сваренная из металлических стержней кровать. На ней ватный матрац – все вроде бы нормально. Но, оказывается, заключенные, спавшие на таких кроватях, даже голодовку объявляли, требуя, чтобы уменьшили просветы между металлическими стержнями. Странно как-то – стояли кровати лет уже, наверно, двадцать, и никто не заикался насчет просветов. Сдурели, что ли, зэки, есть им не хотелось или куражились? Дотошный архивист, может быть, раскопает в тюремных архивах, что примерно в то же время распорядился начальник тюрьмы отбирать у заключенных старые газеты и журналы. Вполне разумное распоряжение – чтобы, стало быть, не захламляли зэки камеру всякой макулатурой. Похвально. Но никакой связи между этими двумя событиями даже архивист не усмотрит, и только зэк может понять эту связь, если спать на этой кровати он мог, только подложив под матрац кучу журналов и газет. Но вот отобрали их – и моментально кровать обратилась в орудие пытки. За одну ночь матрац весь провисает в дырки, и ты спишь на железной решетке.

Полагается, например, в карцере тумба или иное приспособление для сидения, и всякий карцер имеет такое приспособление – некий выступ из стены, сиди себе и сиди целый день. Но вот сделали этот выступ чуточку выше, чем надо бы, и чуточку короче, уже – плотно сесть нельзя, а ноги не достают до пола. Всего-то, казалось бы, сантиметры какие-то, пустяки…

А эти 50 граммов хлеба или 15 граммов рыбы – что за мелочи, право, и говорить даже стыдно. Забывает человек, что даже пушинка сломала когда-то спину верблюду. Забывает, что разница между жизнью и смертью такая ничтожная, такая пустячная: всего-то на пару градусов изменить температуру тела – глядь, а это уже труп. И сколько существует тюрьма, этот общественный институт, столько же продолжается борьба, кипит великая битва между зэками и обществом. За граммы, сантиметры, градусы и минуты. Идет она с переменным успехом. То зэки напрут, а общество отступит. Там 50 граммов, здесь 5 сантиметров, тут 5 градусов отвоюют зэки, и глядишь – жизнь! Но не может общество допустить жизнь в тюрьме. Должно быть в тюрьме страшно, жутко – это же тюрьма, а не курорт. И вот уже напирает общество: там 50 граммов долой, здесь 10 сантиметров, тут 5 градусов, и начинают зэки доходить. Возникают сосаловка, мориловка, гнуловка. Начинаются людоедство, помешательство, самоубийства, убийства и побеги.

Много лет наблюдал я за этой борьбой, глухой и непонятной для посторонних. Есть у нее свои законы, свои великие даты, победы, битвы и поражения. Свои герои, свои полководцы. Линия фронта в этой войне, как, видимо, и в других войнах, все время движется. Здесь она именуется режимом. Зависит она от готовности зэков идти на крайность из-за одного грамма, сантиметра, градуса или минуты. Ибо, как только ослабевает их оборона, тотчас же с победным кличем бросаются вперед эскадроны с красными погонами или с голубыми петлицами. Прорывают фронт, берут в клещи, ударяют с тыла – и горе побежденным! Победителя же никогда не судят.

Новому поколению зэков никогда не удастся отвоевать прежних позиций – новое положение они воспримут как нормальное, как исконное, как должное. Они могут десятки раз выиграть свои битвы, но проиграть можно только единожды. Поэтому зэки, объявившие голодовку и снявшие ее, ничего не добившись, проиграли не только свою войну, но и многим будущим поколениям ухудшили жизнь. Вот еще почему не можешь ты погрузиться в безразличие, впасть в оцепенение. Оно, это безразличие, будет шептать тебе в ухо: главное – выжить! Думай о сегодняшнем дне, прожил его – и слава Богу. И вот уже гремят копыта, поет труба, идут в атаку эскадроны.

Так-то вот сидел я себе во Владимире и почитывал книжечки. Кроме основного своего предмета – биологии, учил я еще английский. Большинство в наших камерах обычно учит

какой-нибудь язык: евреи, как правило, учат иврит, остальные – кто английский, кто немецкий, кто испанский. Методика самая простая: читай как можно больше книг со словарем и выписывай незнакомые слова, а потом все время эти слова повторяй. Обычно для удобства выписывается слово на клочок бумаги: с одной стороны само слово, на обороте – его русское значение. Карточки эти потом удобно перебирать той или другой стороной. А чтобы они не путались и не терялись, вошло у нас в моду клеить из пустых спичечных коробков шкаф. Очень удобный получался шкаф – в пять-шесть рядов, с выдвижными ящичками. Таким вот способом при известном напряжении можно выучить за месяц две, а то и три тысячи слов. Можно их группировать по ящичкам шкафа – по смыслу или по иному признаку. Начальство уже к нашим ящичкам так привыкло, что даже и на шмоне их не отбирали. С книгами же, и в особенности со словарями, было гораздо труднее.

Из дому получать книг не разрешалось, библиотека была бедная, а можно было выписывать книги из магазинов по почте наложенным платежом. Но и то не всякие книги разрешались. В особенности же было запрещено иметь книги, изданные не в СССР, – даже словари, даже изданные в Праге или в Варшаве. Потому, естественно, все норовили получить книги как-нибудь нелегально.

Мне в этом смысле повезло. Еще сидел я под следствием в Лефортове, а мать моя уже начала передавать каждый месяц по три-четыре книги вместе с передачами. Причем среди советских книг были и не советские, изданные в Англии и в Соединенных Штатах. Лефортовское начальство мне их, конечно, не передавало, а складывало на склад. Надеялись они, что я о том не знаю и при отъезде из тюрьмы не потребую. Таким образом скопилось их на складе штук 30. Отправляли же меня из Лефортова во Владимир ночью, когда крупного начальства в наличии не было. Естественно, я начал скандалить, требовать свои книги и пригрозил заявить этапному конвою, что тюрьма не отдает мне вещи. Этапный же конвой ни тюрьме, ни КГБ не подчиняется, более того – как и все офицеры МВД, с КГБ враждует. Поэтому, рассчитал я, вполне может конвой заартачиться и не взять меня на этап как «имеющего материальные претензии к тюрьме» – так это называется. Того же, видимо, боялись и лефортовские надзиратели. Конечно, дежурный офицер сначала поругался со мной с полчаса для приличия, попытался взять за горло. Но уж знали они меня достаточно, сидел я у них третий раз, – понимали, что не уймусь, и книги отдали. Так и привез я во Владимир целый мешок книг – еле дотащил.

С этим мешком книг имел я потом постоянную мороку: то их у меня отнимали – для проверки, а потом не отдавали, то, наоборот, заявляли, что проверять их некому, а потому отдать нельзя; то вводили лимит – 5 книг на руки, остальные опять же отбирали. И каждый раз приходилось мне из-за них то жалобы писать, то голодовки объявлять. Один раз в лагере я их даже украл со склада, подменив другими. Словом, целая эпопея. Любопытно, однако, – никто их ни разу не просматривал, никто даже не знал, что они не советские, иначе мне никакие голодовки не помогли бы. Просто раздражал мой мешок начальников. «У нас здесь не университет, учиться будете после освобождения». Вот и все.

Так или иначе, а каждый из нас имел свой мешок с книгами, причем, как правило, книги эти передавались по наследству – от одного поколения зэков к другому – и являлись как бы общественным достоянием. А потому шла у нас с начальством непрерывная книжная война – как, впрочем, и по другим вопросам режима война не прекращалась. Книги приходилось прятать, чтобы не попадали они начальнику на глаза, особенно же на случай шмона. Задача эта далеко не простая – книга же не иголка, куда ее спрятать? В камере как ни трудно, а все-таки еще можно извернуться. Но хуже нельзя было придумать, если вдруг открывалась кормушка и корпусной говорил: «Соберитесь с вещами». Это могло означать все что угодно: перевод в другую камеру, перевод на другой корпус, в карцер, на этап. И во всех случаях предстоял персональный шмон. Куда ж их девать, эти чертовы книги?

Помогало очень, если оторвать у книги корешок, титульный лист, а то и предисловие. И тогда можно было спорить, что это не книга вовсе, а бумага для туалетных надобностей. Так можно было одну-две книги заначить. Еще навострились ребята подделывать библиотечный штамп: дескать, это не моя книга, а библиотечная. Но и это разоблачили со временем. Если с книжки ободрать корешок, а на его место аккуратно приклеить обложку от толстого журнала, то можно было выдавать ее за журнал – «Октябрь» или «Новый мир», например. Но вскоре стали отбирать и журналы. Самое же верное было побыстрей читать и как можно больше переписывать в тетрадь. Такие конспекты считались уже законной собственностью зэка и тоже переходили по наследству. Но их часто забирал на проверку КГБ, чтобы выяснить, не пишем ли мы антисоветских романов или тюремных дневников. Словом, шла Столетняя книжная война.

Начальство наше очень скоро сообразило, что мы, в отличие от уголовников, гораздо острее переживаем потерю книг, свиданий или переписки с родственниками, чем лишение продуктов питания, строгий режим или пониженный рацион, и потому нажимало на всякие духовные лишения. Хотя, конечно, ударить по желудку, как говорят уголовники, всегда оставалось излюбленным средством воспитателей, им они тоже не пренебрегали. У нас же было свое оружие: жалобы, голодовки, упорство и изобретательность. Но главное, без чего никакая изобретательность не спасла бы нас, – это сплоченность и гласность.

Поразительное явление: всего каких-нибудь тридцать лет назад десятки миллионов политических заключенных гнали на великие стройки коммунизма, сотни тысяч их гибли от цинги и дистрофии. А весь мир в это время, захлебываясь от восторга, восхвалял прогрессивный советский режим. Не то чтобы не хватало им информации, а просто не желали знать, не хотели верить. Хочется людям иметь красивую мечту о счастье и справедливости где-нибудь на земле. И даже самые серьезные западные наблюдатели изумлялись грандиозности советских достижений, размаху строительства, энтузиазму советских людей, о зэках же – ни слова.

Теперь же по стране сидело нас, политических, никак не больше двух десятков тысяч, примерно столько, сколько в одном Норильске умирало раньше зэков за зиму. Но уже почуяли на Западе, что и их судьба, их собственное будущее решается отчасти во Владимирской тюрьме. Стала западная печать уделять нам некоторое внимание, даже вникать в нашу режимную войну, во все эти граммы, градусы, сантиметры. Заинтересовалось вдруг человечество – может ли быть тюрьма с человеческим лицом? Нам это оказалось весьма кстати – тюрьма-то у нас давно была, а вот человеческого лица сильно не хватало. А потому не успевала иногда закончиться наша очередная голодовка, как надзиратели тайком сообщали нам подробности передач Би-Би-Си или радио «Свобода» об этой самой голодовке – даже их увлекла эта радиовойна.

Забеспокоились и кремлевские вожди – очень их стало заботить, что тускнеет фасад великого здания. Ах, это всегда так некстати! Вот в тот самый момент, когда пролетарии всех стран готовы были наконец соединиться и воплотить вековую мечту человечества, в тот самый миг, когда все усилия народов надо направить на борьбу с диктатурой в Чили или с апартеидом в Южной Африке, – вдруг выплывают какие-то зэки, какие-то голодовки, пайки, граммы и градусы. Это отвлекает трудящихся, помогает мировому империализму, отдаляет светлое будущее.

А с другой стороны, менялось настроение и самой государственной машины: не было больше того революционного пыла и рвения – расстрелял его Сталин в 30–40-е годы. Все больше деревенел аппарат, захватывали его чиновничья апатия, боязнь ответственности, боязнь начальства, добротное бюрократическое равнодушие. Обросли законами, инструкциями, постановлениями, и не всегда понятно было, как их толковать. Лучше всего, конечно, доложить «наверх» и ждать распоряжений. «Сверху» же распоряжаться не спе-

шили. «Сверху» любили в основном наказывать чиновников за нерадивость, спускали все новые инструкции, постановления, которые опять надо было истолковывать как-то, примирять их вечные противоречия. И пухла голова у начальника тюрьмы.

Ему и понятно, что всякая инструкция должна быть использована против зэков, но вот до какой степени? Перегнешь немножечко, поприжмешь их покрепче, и глядишь – голодовка. Опять завопят из Лондона, Мюнхена, из Вашингтона. А это значит, что недели через три-четыре нагрянет комиссия из Москвы. «Как же так, товарищи? Поддались на провокацию мирового империализма!» Конечно же, найдут какие-нибудь неполадки, недоделки, запишут, укажут, поставят на вид, а то и снимут – у каждого чиновника ведь пропасть врагов, так и норовят подсидеть, занять место, вырвать кусок из глотки. Поэтому офицеры и начальники тюрьмы тоже слушают западные радиостанции, крутят по ночам приемники, спрашивают друг друга наутро: было вчера что-нибудь? Было – значит, жди комиссии. Вздыхают старые тюремщики: распустили вас, двадцать бы лет назад!..

Но и мы уже далеко не те кролики, что умирали молча и безропотно. Мы поняли великую истину, что не винтовка, не танки, не атомная бомба рождают власть, не на них власть держится. Власть – это покорность, это согласие повиноваться, а потому каждый, отказавшийся повиноваться насилию, уменьшает это насилие ровно на одну двухсотпятидесятимиллионную долю. Мы прошли через участие в правовом движении, прошли хорошую школу в лагерях, мы знаем, какую сокрушительную силу имеет человеческая непокорность. Знают все это и власти. Давно уже отбросили они в своих расчетах всякие коммунистические догмы. Не нужно им больше от людей веры в светлое будущее – им нужна покорность. И когда нас морят голодом по лагерям или гноят по карцерам, добиваются от нас не веры в коммунизм, а покорности или хотя бы компромисса.

Во Владимирскую тюрьму нас собрали по всем лагерям – самых непокорных, самых упрямых: голодовщиков, забастовщиков и жалобщиков. Здесь почти не было людей случайных, а те немногие случайные люди, которые попадали к нам, поневоле встраивались в нашу линию обороны.

В соседних камерах сидели зэки на особом режиме, по таким же статьям, как и наши. Большинство их, однако, были люди случайные – в основном уголовники, проигравшиеся в карты или еще как провинившиеся перед своими сокамерниками. Чтобы избежать расплаты, эти люди расклеивали в своем лагере листовки или делали себе антисоветскую татуировку – им добавили срок и посадили на этот вот особый режим как «политических рецидивистов». Конечно же, по существу, психологически, они оставались уголовниками. И что удивительно: у них, на особом, режим ничем не отличался от режима сталинских лагерей. То же начальство, те же надзиратели относились к ним совсем иначе, чем к нам: их били, унижали, они дрались между собой за пайку хлеба, они предавали друг друга – какая уж там оборона!

До 1975 года нас, политических, на работу не гоняли: тюремное начальство считало это нецелесообразным. Знали они по прошлым годам, что большинство на работу не пойдет, а кто и пойдет, все равно норму делать не будет. Невыгодно было это тюрьме – держать рабочее помещение, вольнонаемных мастеров и добавочный план на нас, не получая реальной выработки. Весной же 75-го – в ожидании Хельсинки, что ли, – Москва распорядилась иначе: приказано было заставить нас работать.

Принудительный труд и вообще-то унизителен для человека. В условиях же тюремной системы, где 60 процентов заработка вычитается тюрьмой на нужды охраны, а из оставшейся суммы вычитается стоимость твоего питания, одежды и содержания, где работа – это средство твоего перевоспитания, где отнимает она 8 часов в день при шестидневной рабочей неделе, притом нормы выработки искусственно завышаются, чтобы сделать труд непосильным, – в таких условиях труд неприемлем для уважающего себя человека.

Естественно, мы отказались. И началась долгая осада. Всех нас – как злостных отказчиков – по нескольку раз протащили через всевозможные виды наказания: только на строгом режиме я за это время просидел полтора года (это из неполных двух). Другим больше досталось карцеров, кое-кто просидел там по 60 и даже 75 суток. Нам пресекли переписку с родными, лишили свиданий, продуктов. Война шла безжалостная, на износ. Каждый понимал, что проиграть нельзя. Поэтому, кроме обычных методов обороны – голодовок и нелегальной передачи информации на волю о беззакониях в тюрьме, – мы применили и несколько неожиданный метод: завалили официальные инстанции буквально лавиной жалоб.

Нужно знать советскую бюрократическую систему, чтобы понять, какой это давало эффект. По существующим в СССР законам каждый заключенный имеет право подавать жалобы в любые государственные или общественные учреждения и должностным лицам. Жалоба должна быть отправлена тюрьмой в трехдневный срок с момента ее подачи. За это время начальство должно написать сопровождающее ее пояснение от себя, а также выписку из личного дела жалующегося и все это вложить в тот же конверт, что и жалобу. Инстанция, которая жалобу получает, регистрирует ее в журнале своих входящих бумаг и обязана в течение месяца дать на нее ответ. Если инстанция не компетентна решать затронутый в жалобе вопрос, она пересылает ее в компетентные инстанции. На повторную жалобу заводится отдельное производство. Существует несколько законов и инструкций, регулирующих порядок рассмотрения жалоб. На практике, если вы написали одну жалобу, это никогда не дает эффекта: ее перешлют «компетентному лицу», то есть именно тому, на кого вы жалуетесь. А он, естественно, найдет жалобу необоснованной. Чаще всего жалоб просто никто не читает, а сразу пересылают их вниз, по инстанции. Такая практика породила в людях неверие в силу жалоб. Ворон ворону глаз не выклюет – говорят зэки.

Однако при соблюдении известных правил жалобы весьма эффективны даже в тюрьме. Нужно только:

– знать законы и порядок рассмотрения жалоб;

– досконально знать все законы и инструкции о тюремном режиме;

– жалобу составлять предельно кратко, четко, лучше всего на одной странице, иначе ее никто читать не станет. В жалобе должен быть указан только факт нарушения закона или инструкции, дата этого события, фамилии виновных и указание на закон или инструкцию, которые при этом были нарушены;

– писать нужно крупными буквами и разборчивым почерком, оставляя сбоку поля;

– если ты хочешь, чтобы жалобу рассматривала высокая инстанция, жалуйся на начальника предыдущей: то есть, если тебе надо, чтобы отвечало главное управление МВД, жалуйся не на начальника тюрьмы, а на начальника областного управления. Для этого нужно медленно подниматься по ступенькам чиновничьей лестницы, жалуясь каждый раз выше на ответ предыдущей инстанции;

– никогда не жалуйся по двум различным вопросам в одной и той же жалобе;

– отправлять жалобу надо заказным письмом с уведомлением;

– самое главное условие: жалобы надо писать в огромных количествах и в самые некомпетентные инстанции.

В разгар нашей войны мы писали каждый от десяти до тридцати жалоб ежедневно. Сочинить тридцать жалоб в один день трудно, поэтому обычно мы распределяли между собой темы, и каждый писал на свою тему, а потом давал остальным переписать. Если у вас в камере 5 человек и каждый берет себе по 6 тем, то в результате обмена каждый напишет по 30 жалоб, а сочинять придется только по шесть. Переписывать же 30 страничек готового текста, да еще крупным почерком – это примерно полтора-два часа работы.

Адресовать жалобы лучше всего не чиновникам, а самым неожиданным людям и организациям: например, всем депутатам Верховного Совета, республиканского или областного,

городского Совета, всем газетам и журналам, всем космонавтам, всем писателям, художникам, артистам, балеринам, всем секретарям ЦК, генералам, адмиралам, передовикам производства, чабанам, оленеводам, дояркам, спортсменам и так далее, и тому подобное. В Советском Союзе все мало-мальски известные люди являются должностными лицами.

Далее происходит следующее: тюремная канцелярия оказывается завалена жалобами и не успевает отправлять их в трехдневный срок, так как им нужно составлять вышеупомянутые сопроводительные записки к каждой жалобе. За нарушение срока отправки они непременно получат выговор и лишатся премиальных. В самые жаркие дни нашей войны по приказу начальника тюрьмы в помощь канцелярии привлекались все: библиотекари, вольнонаемные бухгалтеры, цензоры, офицеры политчасти, оперативники. Более того – рядом с тюрьмой находилось училище МВД, так курсантов пригоняли помогать канцелярии.

Все ответы и отправки нужно регистрировать в специальную тетрадь и строго следить за соблюдением сроков ответа и отправки. Все эти жалобы проходят сложный путь и во всех инстанциях регистрируются, на них заводятся папки и делопроизводство. В конечном итоге они все обрушиваются в две инстанции: в местную прокуратуру и местное управление МВД. Эти инстанции тоже не успевают отвечать, тоже нарушают сроки, за что тоже получают выговоры и лишаются премий. Бюрократическая машина работает на всех парах, а вы переносите бумажный вал с инстанции на инстанцию, сея панику в рядах противника. Чиновники есть чиновники, они вечно враждуют друг с другом, и очень часто ваши жалобы становятся оружием в их руках для междоусобной или межведомственной войны. Так продолжается несколько месяцев. Наконец в дело вступает самый мощный фактор советской жизни – статистика.

В какую-то высокую инстанцию докладывают среди прочих цифр и сводок, рапортов и сообщений о ходе строительства коммунизма, что вот на Владимирскую тюрьму, а то и на всю область поступило – за отчетный период – 75 тысяч жалоб. Никто этих жалоб не читал, но цифра неслыханная. Она сразу портит всю отчетную статистику, какие-то показатели в социалистических соревнованиях каких-то коллективов, управлений или даже областей. Всем плохо: вся область из передовых переходит в отстающие, у нее отбирают какие-то там переходящие красные флаги, вымпелы и кубки. Трудящиеся негодуют, в обкоме паника, а в вашу тюрьму срочно снаряжается высокая комиссия.

Эта комиссия не поможет вам лично, разве что разрешит несколько мелких вопросов в ваших жалобах. Но она обязательно должна найти массу недостатков и упущений в работе начальства. За этим ее и посылали, платили ей командировочные, суточные и премиальные. Начальство получает разгон. Кого-то снимают, кого-то понижают в должности, кто-то получает выговор, комиссия рапортует вверх о принятых мерах и удовлетворенно уезжает домой. Далее, поскольку вы посылали жалобы всяким дояркам, депутатам, балеринам и оленеводам, то им всем тоже надо отвечать, разъяснять и успокаивать, сообщать о решении комиссии и о принятых мерах.

А вы все пишете и пишете дальше, портите статистику за новый отчетный период и выбиваете новую комиссию, и так – годами. Прибавьте сюда комиссии и выговоры, которые возникают в результате утечки информации за рубеж, директивы, циркуляры, контрприказы, жалобы родственников, кампании и петиции за границей – и вы поймете, что выдержало наше начальство, воюя с нами за выход на работу. Какой начальник тюрьмы, какой прокурор, какой секретарь обкома КПСС захочет такой жизни? И если бы это зависело только от них, мы давно бы прорвали блокаду. Но был приказ Москвы.

Бог мой, чего только они не делали с нашими жалобами: их конфисковывали мешками, их крали, не давали нам бумаги, не продавали конвертов и марок, запрещали отправлять заказными с уведомлением (чтобы удобнее было красть), издали специальный приказ и запретили писать жалобы куда бы то ни было, кроме прокуратуры и МВД, сажали за жалобы

в карцер. А ответы – какие мы получали ответы! Это же фантастика! Ошалевшие чиновники, не успевавшие даже прочитать наши жалобы, отвечали невпопад, путали адресатов, путали жалобы. Они так перекорежили и переврали несчастные законы, что их самих можно было сажать в тюрьму. Например, полковник МВД из местного управления отвечал мне, обалдев от бумажной бури, что съезд КПСС не является общественной организацией и поэтому, дескать, нельзя обращаться к нему с жалобами. Конечно же, последовал шквал жалоб на полковника, и он исчез в этом водовороте.

А владимирские суды, совершенно осатанев от груды исков и требований уголовного преследования наших начальников, отвечали нам, например, что офицеры МВД неподсудны советским судам. Наконец, на все махнув рукой, нам вместо ответов стали присылать расписки примерно такого содержания: «За истекший месяц получены и отклонены 187 ваших жалоб» – и подпись. Вся бюрократическая система Советского Союза оказалась втянута в эту войну. Не было такого ведомства или учреждения, области или республики, откуда б мы не получили ответа. Бывало, что две инстанции давали диаметрально противоположный ответ, и тогда мы их стравливали. Под конец мы втянули в эту игру даже уголовников, и жалобная зараза стала расползаться по тюрьме – всего же в тюрьме было 1200 человек.

Я думаю, если дело протянулось бы несколько дольше и вся тюрьма включилась бы в эту работу, то советская бюрократическая машина просто вышла бы из строя: все учреждения Советского Союза прекратили бы свою работу и писали бы нам ответы. Но они сдались. Осада была снята после двух лет борьбы. Нашего начальника тюрьмы сняли и отправили на пенсию, произвели кое-какие перемещения в администрации, и все затихло. Москва отступилась от своего приказа. Бедный наш полковник Завьялкин! Он пострадал ни за что, пал жертвой административной несправедливости. В сущности, он не был злым человеком, он был просто исполнительным чиновником. Он плохо понимал, что происходит, а от бесчисленных комиссий и противоречивых указаний, сыпавшихся ему на голову, он защищался весьма своеобразно – прикидывался дурачком, этаким исполнительным дурачком, который все хочет как лучше, да вот беда – выходит наоборот! Его распекали, его бранили, ставили на вид – он все принимал с видом безвинного, но невезучего человека.

Победа досталась нам нелегко. Поддошли, отощали ребята, у каждого открылась какая-нибудь болезнь: у того – язва, у этого – туберкулез. В тюрьме и здоровому человеку нелегко, а уж больному – совсем труба. Болезнью тебя начинают шантажировать: будешь сговорчивым – подлечим, дадим диетпитание, переведем в больницу. При язве и болезни печени всю эту гнилую кильку и тухлую квашеную капусту совсем невмоготу есть, а это 60 процентов твоей пищи, куда деваться? Если у тебя туберкулез или, скажем, голодные боли при язве, очень любят начальники сажать в карцер. Да еще в голодный день, когда пищи не полагается, норовят тебя вызвать на беседу. Туберкулезникам, по крайней мере, легче – они хоть боли не чувствуют.

Собственно, лечить здесь никого не лечат. Могут слегка смягчить остроту болезни, залечить поверхностно, не допустить смерти. В результате, как правило, у всех болезни приобретают хроническую форму, и потом уже от них не избавишься – всю жизнь на лекарства зарабатывай. Это считается вполне нормальным. «Вы что, лечиться сюда приехали? Мы вас в тюрьму не звали, не надо было попадать», – говорят врачи. Да и больница, собственно говоря, ничем не отличается от обычной камеры: такие же бетонные полы, такие же жалюзи на окнах; ни света, ни воздуха, только что кормят получше. Даже унитазов нет – на оправку водят два раза в день. Не захочешь такой больницы.

Вообще медпомощь здесь рассматривается как награда за хорошее поведение. В соседней камере у уголовников сидит эпилептик. Каждый день зэки стучат в дверь, требуют врача. Какой там врач! Часа через четыре, может быть, заглянет в кормушку фельдшер: «Что, эпилептик? Не умрет, больше не зовите», – и захлопнет кормушку. Когда у нас в камере стало

плохо Гуннару Роде, мы полночи ломились в дверь, орали в окно, вырвали из пола скамейку и ею с разбегу били в дверь, как тараном, выбили кормушку напрочь, дверь треснула. Еще немного, и дверь бы вылетела. Потом нас всех посадили в карцер, но Роде все-таки забрали в больницу. В другой раз посадили опять в карцер Сусленского, а он сердечник, и как его в карцер посадят, у него дня через три – приступ. Так и в этот раз. Тут уж весь корпус, все камеры, включая уголовников, ломали двери – грохот стоял, как при канонаде. Корпус ходуном ходил. Шутка сказать, 66 камер – около двухсот человек – долбили двери. В результате Сусленского на носилках перенесли в другой карцер, на другой корпус – только и всего.

Так что нелегко нам досталась наша победа – зато для скольких поколений зэков отстояли мы право не работать в тюрьме, кто знает? Да и добились многих улучшений. А самое главное, боятся нас теперь начальники как огня! И когда новый начальник тюрьмы попытался было опять прижать нас с книгами – всего только несколько дней и проголодали, а уж начальник сдался. Нас и пальцем тронуть не смеют теперь. Уголовников же что ни вечер кого-нибудь отволокут в туалет и лупят. А то в наручники затянут и месят сапогами. Что ни вечер – крики, стоны. Особенно известен этим майор Киселев. Вечно пьяный, с белесыми, невидящими глазами, он просто больной делается, если за смену кого-нибудь не отметелит. Нас же обходит стороной, даже дышать боится, чтобы не учуяли запах перегара.

Особенно навалились мы на него после того, как в конце 74-го года убили в его смену в карцере уголовника по кличке Дикарь. Никто не знал фамилии этого несчастного Дикаря, и были мы в затруднении как же писать об этом случае в заявлениях. Так и писали: «уголовник по кличке Дикарь». Долго его били, видно, всю ночь, потому что всю ночь выл он в карцере. Несколько раз за эту ночь вызывали мы корпусного, спрашивали, в чем дело. «А кто его знает, – отвечал он, – должно быть, сумасшедший, вот и воет». Наутро сообщили нам уголовники, в чем было дело. С тех пор два года одной из наших постоянных тем в жалобах был этот Дикарь – требовали суда над Киселевым. Одних только жалоб написали тысячи полторы. Суда, конечно, не добились, прокуратура неизменно отвечала: «Причастности администрации к смерти осужденного Гаврилина не установлено». Только так и узнали его фамилию.

Киселев, однако, поутих и уж, во всяком случае, нас боялся. Ненавидел он нас при этом люто и всегда норовил составить на нас рапорт, чтоб наказали. Вся смена у него была такая же, как он, словно на подбор, – один Сорок Первый чего стоил! Маленький такой корпусной, старшина Сарафанов, постоянно дежурил на первом корпусе в смене Киселева. Кличку свою он получил от зэков много лет назад за то, что за одну смену как-то написал 41 рапорт. Как он ухитрился успеть – уму непостижимо, тем более что был он полуграмотный. Исключительно ехидная скотина! Этот, да еще корпусной по кличке Цыган, тоже из смены Киселева, больше всего доставляли нам забот и открыто нас ненавидели. Цыган был, правда, откровеннее, прямее. Кричал нам, не стесняясь: «Жаль, Гитлер не всех вас в печках сжег!» – он считал, что мы все евреи. Ну, уж и мы им спуску не давали.

Остальные надзиратели, особенно помоложе, относились к нам неплохо, иногда с открытым сочувствием. Так же, как и мы, ненавидели они капитана КГБ Обрубова, приставленного к нам в качестве оперуполномоченного по тюрьме. Как и уголовники, надзиратели называли его Адмиралом Канарисом. Внешне Обрубов действительно чем-то походил на Канариса, но, думаю, был во много раз глупее. Подсылал он к нам постоянно баландеров, шнырей и прочих уголовников из хозобслуги, чтобы те взяли у нас какую-нибудь записочку на волю или письмо. За это приносил им тайком запретный в тюрьме чай. Хозобслуга, естественно, все это рассказывала нам, считая такой путь наиболее простым, и просила нас сочинять для них туфтовые записочки. Нам это тоже было выгодно, так как взамен хозобслуга соглашалась передавать нашим в карцер махорку, а иногда и хлеб. Поэтому мы регулярно снабжали Обрубова туфтовыми посланиями на волю, а то и петициями в ООН, которые он

представлял выше как доказательство своей полезности. Заработанный таким образом чай баландеры продавали в камеры блатным, так что все были довольны.

Несколько лет тому назад, как рассказывают, был Обрубов понаглее и понастырнее, вызывал всех подряд и предлагал сотрудничать, писать доносы. Одним в награду обещал приносить еду, другим – водку, третьим – досрочно освободить. Наконец надоело это ребятам. Особенно же взорвались после того, как вызвал Обрубов таким вот образом Заливако Бориса Борисовича, бывшего священника, и предложил ему – за сотрудничество – после освобождения помочь получить приход. Некоторое время потребовалось, чтобы сговориться, особенно между разными корпусами, и в назначенный день все как один объявили голодовку с требованием прекратить наглую вербовку и убрать Обрубова. Совершенно неожиданно голодовка эта вызвала ликование у начальства и даже в прокуратуре. Моментально появились начальник тюрьмы и прокурор и, еле сдерживая радость, спрашивали, действительно ли Обрубов так грубо вел вербовку. С тех пор Обрубов открыто не появлялся, вербовать не отваживался, да и не вызывал почти никого, бродил где-то вокруг нас. Уголовники рассказывали нам, что много раз видели, как он стоит часами и подслушивает у дверей наших камер.

Надо сказать, что отношение к нам уголовников тоже стало совершенно иное. Рассказывают, что еще лет 20 назад называли они нашего брата не иначе как фашистами, грабили на этапе и по пересылкам, угнетали в лагерях и так далее. Теперь же вот эти самые уголовники добровольно помогали таскать на этапах мои мешки с книгами, делились куревом и едой. Просили рассказать, за что мы сидим, чего добиваемся, с любопытством читали мой приговор и только одному не могли поверить – что все это мы бесплатно делаем, не за деньги. Очень их поражало, что за вот так запросто, сознательно и бескорыстно люди идут в тюрьму. Во Владимирской тюрьме отношения у нас с ними сложились самые добрососедские: постоянно обращались они к нам с вопросами, за советами, а то и за помощью. Мы были высшими судьями во всех их спорах, помогали им писать жалобы, разъясняли законы, и уж, разумеется, бесконечно расспрашивали они нас о политике.

В тюрьме хочешь не хочешь, а даже уголовники читают газеты, слушают местное радио и, может быть, впервые в жизни задумываются: отчего же так скверно жизнь устроена в Советском Союзе? Подавляющее их большинство настроено резко антисоветски, а слово «коммунист» – чуть ли не ругательство. Из-за своей разобщенности и неграмотности они не могут постоять за свои права, да чаще всего и не верят ни в какие права заключенных. Начальство пользуется их распрями, натравливает друг на друга. Когда хотел начальник сломать кого-нибудь из них, то обычно переводил в камеру к тем, с кем у него смертельная вражда. И уж там кто кого убьет, а убийцу же потом приговорят к расстрелу.

Известно было, что наш новый начальник тюрьмы подполковник Угодин так-то вот перевел некоего Тихонова в камеру к его врагам. Там его убивали долго, чуть не два дня топтали сапогами. Кричал он на весь корпус, но никто не вмешался. Угодин же, как рассказывают, частенько подходил к дверям, смотрел в глазок, слушал, как вопит Тихонов, и затем удовлетворенно отходил. За этим занятием его застали зэки из соседней камеры, которых проводили по коридору на прогулку. А из противоположной камеры все это было видно в щель. Лишь на третьи сутки зашли в камеру надзиратели, забрать труп. Виновных потом приговорили к расстрелу, Угодин же остался ни при чем.

Нам об этом тотчас передали, а мы написали Генеральному прокурору. Ответ же, как водится, пришел из местной прокуратуры: «Причастности должностных лиц к убийству Тихонова расследованием не установлено». Так это дело и заглохло.

В условиях нашей перманентной войны за режим необходимость согласовывать действия и обмениваться информацией вынуждала нас искать надежные средства связи между

политическими камерами, разбросанными по тюрьме. Вот здесь-то и оказались наши уголовнички необычайно полезны: у них, особенно у воров-законников, вся тюрьма была связана дорогами, по которым циркулировали их директивы. Из окна в окно, на прогулке, через этажи и корпуса проходили невидимые нити связи. В эту же систему подключились и мы.

Должен сказать, что воры в этом отношении были предельно честны: записки никогда не попадали в руки надзирателей и доходили в том самом заклеенном и прошитом нитками виде, как мы их отправляли. Соответственно и нам пришлось принять участие в передаче их почты, и мы всегда нервничали за нее больше, чем за свою. Неловко было бы подвести соседей, которые самоотверженно шли в карцера, глотали записки целиком, но никогда не отдавали их властям.

Вообще же, при той полнейшей изоляции и строгом режиме, которые были в тюрьме установлены, поразительно, как много существовало средств связи: любые две точки в тюрьме оказывались связаны. Все это, разумеется, запрещалось, а нарушители строго наказывались за «межкамерную связь» – так это официально называлось.

Я, помню, только приехал в тюрьму первый раз, ничего еще не знал, сразу после обыска посадили меня на время одного в этапную камеру – темную, грязную и холодную. Вместо унитаза – этакий трон, возвышение со ступеньками высотой полметра, в середине дырка. Вонь жуткая. Над дыркой кран – это вместо раковины. Присел я на нары в некотором оторопении от такой камеры. Ну, думаю, неужели мне так три года сидеть? Вдруг слышу: «Гхм!» То ли показалось, то ли действительно кто-то кашлянул у меня под самым ухом. Оглядываюсь по сторонам – никого. Вдруг опять: «Гхм! Землячок!» Что за дьявол? На всякий случай ответил: «Что надо?» – «А подойди, землячок, к унитазу поближе – плохо тебя слышно!» Так состоялось первое мое знакомство с тюремным телефоном.

В других камерах, где настоящие унитазы стоят, там обычно веником или тряпкой откачивают воду из сифона и говорят действительно прямо как по телефону. Потом уж и мы привыкли. Особенно к вечеру хорошо слышно, как кричат в окно из одной камеры в другую, например, в тридцать первую: «Тридцать первая! Тридцать первая! Качни!» или «Откачай!» А то и прямо: «Тридцать первая, на телефон!»

Однако далеко не все камеры связаны этим телефоном. Обычно позвонить можно только вверх или вниз, в редких случаях напротив – это зависит от устройства канализации. Да и не во всех камерах есть унитазы. Тогда пользуются другим способом. Через все камеры проходит система центрального отопления. Поэтому если алюминиевую кружку, какие дают всем в тюрьме, прижать дном плотно к трубе, а ртом плотно прижаться к отверстию кружки и кричать, то звук хорошо расходится по трубам во все стороны. В другой камере нужно так же точно прижать кружку к трубе, а к отверстию приставить ухо – это очень загруженная связь, целый день гудят трубы от голосов. Но есть в ней и свои неудобства. Во-первых, надо ждать очереди, нескольким людям сразу говорить нельзя. Во-вторых, через несколько камер уже плохо слышно, приходится просить, чтобы передавали из камеры в камеру по эстафете. В-третьих же, не всякое сообщение желательно передавать открыто. Вот для этих-то случаев и существует почта.

Обычно она передается «конем», так же, как и более крупные вещи – продукты, книги и тому подобное. Распускают несколько носков и из этих ниток плетут прочный шнур. На конец шнура привязывают груз. Затем, изловчившись, через щель в жалюзи – а она обычно от силы в палец шириной – кидают этот груз вбок или опускают вниз. В другой же камере ловят «коня», выставив в щель «плечо», то есть какую-нибудь палку с крючком на конце, а то и плотно скрученную трубочкой газету. Приняв таким образом «коня», шнур втягивают в камеру и привязывают к его концу то, что надо передать. И так ваша посылка движется по тюрьме из окна в окно. Конечно, если застанут вас за этим занятием надзиратели – 15 суток карцера обеспечены.

Другой способ – передача на прогулке. Веселым словом «прогулка» обозначается, в сущности, весьма скучная процедура. Давно уже прошли те времена, когда заключенные чинно гуляли парами по общему тюремному двору. Теперь прогулочные дворики – это бетонные клетушки размером чуть больше камеры. Стены покрыты грубо набросанным цементным раствором, «шубой», – это чтобы не оставляли надписей. Дверь такая же, как и в камере, с глазком, обитая листовым железом. Стены более трех метров высотой, вместо потолка решетка. Гулять выводят по камерам, так что разнообразия эта прогулка не вносит. Таких прогулочных двориков строят вместе 10–12 штук – по пять-шесть с обеих сторон прохода. Сверху, над проходом, специальная платформа для надзирателя, по которой он ходит взад-вперед, поглядывая сверху в дворики направо и налево. Как только он поворачивается спиной, из дворика в дворик норовят перебросить записки или небольшие свертки. Камера, замеченная за этим занятием, обычно лишается прогулки.

Позднее, пытаясь пресечь эту связь, сверх решеток еще постелили мелкую сетку, так что зимой, при сильном снегопаде, снег даже не проваливается вниз, а застревает на сетке. Однако и это не помогло. Заключенные приноровились как-то поднимать эту сетку и под ней проталкивать в соседний дворик свою почту. Местами сетку стараются прорвать, и тогда, стоя на чьих-нибудь плечах, можно просунуть руку в дыру и кинуть в соседний дворик или в дворик напротив то, что тебе нужно. Включившись в общетюремную систему связи, и мы были вынуждены служить звеном передачи. Чего только не приходилось перекидывать нам из одного дворика в другой по просьбе соседей! Один раз – мешок махорки, он еле пролез в щель под сеткой, другой раз – 15 кусков мыла, причем с каждым куском надо было уловить момент, когда надзиратель отвлекся. Однажды, не успели мы выйти на прогулку и выяснить, кто наши соседи слева, а кто справа (обычная процедура), как справа с большим трудом пропихнули толстенную книгу, за ней другую – оказались мемуары Жукова. Ну, один том мы пропихнули дальше, второй застрял. Ни мы, ни соседи не могли его впихнуть в щель. Так и зацапали его надзиратели. Но для передачи записок это очень удобный способ.

И уж совсем, казалось бы, примитивный способ – оставлять надписи на стенах. А и он был весьма эффективен. Мелко-мелко карандашом везде, куда только не приведут: в бане, на прогулке, в этапных камерах – оставляют автограф или список камеры, а то и короткую надпись. Практика показала, что в течение недели эти надписи обязательно попадут на глаза кому нужно. Мы обычно писали по-английски, так что надзиратели не понимали смысла. Догадывались, конечно, что политические писали. Вообще английский язык скоро сделался у нас своего рода шифром или жаргоном – по-английски можно было и в окно кричать, и по трубе переговариваться, никто посторонний не понял бы.

Таким вот образом просидел я здесь уже два с половиной года (да еще до этого год – в 72–73-м году перед отправкой в лагерь). Последние три месяца было затишье – на работу больше не гнали, на строгий режим не переводили. Затишье это казалось мне подозрительным, а тут еще собрали нас почти всех на четвертом корпусе, на втором этаже, через камеру. До этого все старались разбросать наши камеры подальше друг от друга, чтобы труднее было связываться. Тут же, как нарочно, собрали всех вместе. Трое в двадцать первой камере, восемь человек в пятнадцатой, двое – в двенадцатой, четверо – в десятой. Я был в десятой. Еще было наших четверо в семнадцатой, но как раз подошло двум ехать обратно в лагерь да двоим на ссылку, и камеру растасовали. Человек десять сидело еще на первом корпусе, но и их на работу не гнали. Говорили начальники, что к концу года всех сюда соберут. Трудно было сказать, замышляет что-то начальство или, наоборот, решило оставить нас в покое. Если не считать очередного нападения на наши книги, никаких признаков подготовки к наступлению вроде бы не наблюдалось. Правда, почти все лишились переписки, а это всегда недобрый знак.

Еще с конца прошлого года взяли власти за правило конфисковывать все наши письма. Просишь объяснить, в чем причина, – говорят, объяснять ничего не обязаны, пишите новое письмо. А напишешь – опять конфискуют. Так эта бодяга и тянулась, и уже скоро год, как я не мог ни одного письма домой отправить. И непонятно было, кого они хотят этим наказать – мою мать или меня. Так и у других – у кого полгода, у кого восемь месяцев не было переписки. Поневоле приходилось пользоваться нелегальными каналами.

Новости с воли доходили с трудом – в основном невеселые новости. Одних сажали, других выгоняли за границу. Кого на Восток, кого на Запад – и все это были мои друзья, люди, которых знал я уже много лет. Как ни жаль было посаженных, а оставалась надежда их увидеть хоть когда-нибудь – все-таки они исчезали не навсегда. Тех же, кого выгоняли на Запад, словно в могилу провожаешь – никогда уже их не видать. Пустела Москва, и как-то все меньше и меньше думалось о воле. Особенно же тяжело было, когда кто-то из знакомых отрекался или каялся, – точно часть своей жизни нужно было забыть навсегда. Долго потом всплывают в памяти эпизоды встреч, обрывки разговоров, и никак не заглушить их, как будто сам ты виноват в их предательстве.

Когда-то раньше был я очень общительным человеком, легко сходился с людьми и уже через несколько дней общения считал своими друзьями. Но время уносило одного за другим, и постепенно я стал избегать новых знакомств. Не хотелось больше этой боли, этой судороги, когда человек, на которого ты полагался, которого любил, вдруг малодушно предавал тебя и нужно было навсегда вычеркнуть его из памяти. Тяжело было сознавать, что вот сломали еще одного близкого человека. Старые зэки, стоя у вахты, когда заводят в зону новый этап, почти безошибочно предсказывают: вот этот будет стукачом, этот – педерастом, тот будет в помойке рыться, а вот добрый хлопец. Со временем и я стал невольно примерять на всех людей арестантскую робу, и оттого друзей становилось меньше. Постепенно остался какой-то круг особенно дорогих мне людей, потому что они были единственным моим богатством, все, что я нажил за эти годы, и уж если из них кто-нибудь ломался, то это было пыткой. И еще меньше становилось нас в замке, еще одно место пустело у камина, умолкала наша беседа, затихала музыка, гасли свечи. Оставалась только ночь на земле.

Теперь же вот эти дорогие мне люди уезжали навсегда на Запад, точно в пустоту проваливались. Глухо доходили о них сведения, в основном из советских газет – словно голоса с того света.

Последнее время и меня вдруг вспомнила советская печать. Почти шесть лет они молчали – выдерживали характер, а тут целая страница в «Литературке» – интервью первого заместителя министра юстиции СССР Сухарева. Еще в 72-м году, сразу после суда, появилась в московской газете статейка под заголовком «Биография подлости». При всей ее обычной для советской пропаганды лживости и обилии ругательств эта статья не выходила за рамки приговора, то есть не добавляла лжи от себя. Теперь же замминистра юстиции нес совершенную околесицу, даже отдаленно не напоминавшую моего приговора. По его словам, я обвинялся чуть ли не в сотрудничестве с Гитлером и в подстрекательстве к вооруженному восстанию. Забавно было читать все это, напечатанное миллионным тиражом, разосланное во все уголки страны, и при этом иметь на руках приговор с печатью советского суда. Любопытно – на кого рассчитана такая откровенная чепуха? В наше время, когда почти все слушают западное радио, когда меня даже конвойные на этапе узнавали, – что может дать такая глупость?

Разумеется, я пытался легально протестовать: написал письмо редактору «Литературной газеты», Генеральному прокурору, министру юстиции – тюрьма все конфисковывала. Ни одной жалобы по этому поводу мне не дали отправить, даже официальный иск о клевете в суд. Мне было любопытно получить хоть какой-нибудь, пусть самый нелепый, но официальный ответ. Забавность ситуации состояла в том, что по советским законам любой

приговор суда, если он не отменен, обязателен для всех должностных лиц и организаций. Мне было интересно, как они вывернутся, поэтому я писал в очень спокойном, сдержанном тоне, воздерживаясь от выводов и оценок, лишь констатируя факт несоответствия публикации приговору. Однако тюрьма не пропустила ничего. Вот так они всегда и действуют: одни врут на всю страну, другие зажимают рот тем, кто может их разоблачить, – типично коммунистическое разделение труда.

Вызвал на беседу воспитатель, стал уговаривать: «Бросьте, не пишите, зачем вам это нужно? Чепуха все это, мелочь». – «Как же так, – говорю, – приговор именем Российской Федерации, он же обязателен для всех. Вы меня по этому приговору в тюрьме держите, и вдруг он оказывается неверным». – «Да ну, – говорит он, – не обращайте внимания, газеты всегда врут, стоит ли нервничать?» – «Да ведь замминистра юстиции пишет! Может, он лучше знает, за что меня судили? Может, мой старый приговор пересмотрели, изменили? А я сижу и ничего не знаю». – «Нет-нет, приговор правильный, не беспокойтесь, нам бы сказали».

Воспитатель наш, капитан Дойников, человек не злой, сам от себя гадостей не сделает. В сущности, обязанностей у него немного, никто всерьез от него не требует, чтобы он нас перевоспитал. Понимают, что это задача непосильная. Должен он время от времени проводить с нами беседу. С кем-нибудь другим мы и беседовать отказались бы. За последнее время сменилось их у нас трое или четверо.

Поначалу они все радовались, что перешли на легкую работу: ребята спокойные, матом не ругаются, не дерутся, в карты не играют, сидят себе тихо, книжки читают. Не работа, а дом отдыха! Но уже месяца через три просились от нас и согласны были идти к любым разбойникам и головорезам. С одной стороны, жало на них начальство, требовало на нас материал, требовало закручивать гайки. А когда мы давали отпор – виновным был воспитатель, ему сыпались на голову выговоры. С другой стороны, мы тоже не давали спуску, и от одних наших жалоб можно было одуреть. Да кроме того, не получалось у этих воспитателей контакта с нами, не могли они к нам приноровиться. Привыкли они к уголовникам, к их психологии. Там матом обложил, здесь в ухо дал, и глядишь – навел порядок. С нами же нужно было что-то особое, чего эти воспитатели никак понять не могли. Наконец поставили к нам этого Дойникова.

Считался он по тюрьме самым бестолковым офицером, самым глупым и безответным. Мундир сидел на нем, как на вешалке. Говорить он не умел, да был и не шибко грамотным. Отдали его нам в жертву, на растерзание, с расчетом, что месяца через три-четыре спишут на пенсию за неспособностью. Однако совершенно неожиданно он у нас прижился. Нас он вполне устраивал, и мы на него никогда жалоб не писали. Его нескладная худая фигура в нелепой засаленной униформе возбуждала скорее сострадание. Говорил он тоже нескладно, совершенно несвязно, постоянно перескакивая с одного на другое. При этом пробалтывался о многом, для нас важном. Понимал и он, что мы его терпим, а потому, вызывая на беседу, говорил о чем угодно: о рыбалке, о футболе – битый час мог городить околесицу. Изредка так, виноватой скороговоркой, вставит фразу-другую о политике партии и опять перескочит на свою мешанину без конца и начала, торопясь загладить бестактность. Так вот с часочек поболтает и запишет себе для отчета, что провел беседу. При ближайшем рассмотрении был он совсем не глуп, иногда даже поразительно изворотлив, и вся эта напускная бестолковость выработалась у него в жизни, как у зебры полосы, – в результате естественного отбора. А кроме того, нужно ему было как-то примирить свои жестокие функции с отнюдь не жестоким характером.

Удивительно, как это все примиряется в русском человеке. Я редко встречал садистов в должности надзирателей – даже злых по характеру людей среди них, в сущности, тоже немного. Обычно же это простые русские мужики, сбежавшие в город из колхоза. Но вот

прикажут такому Дойникову нас расстрелять – и расстреляет. Он, конечно, постарается, чтобы его по бестолковости на такое дело не послали. Он и нас постарается как-то ублажить, чтобы мы на него за это не очень обижались. Но ведь расстреляет!

Стыдно признаться – много раз ему удавалось упросить нас забрать назад жалобы. Придет в камеру, станет с этими жалобами в руках как-то так жалостно и начнет свою бесконечную околесицу, свою бестолковщину. И всем своим видом так и просит: забрать бы надо, дескать, жалобы, совсем это ни к чему – жалобы ваши. Что ж это вдруг – жалобы да жалобы? Забрать бы их надо, и так жизнь собачья! И – черт знает что! – у нас война идет не на жизнь, а на смерть, нас уже почти задавили, заморили, а мы берем у него эти жалобы. Рука не поднимается, сил нет – Дойникова жалко…

Помню, в Институте Сербского на экспертизе работали у нас санитарками бабки, простые деревенские бабки, почти все верующие, с крестиками тайком за пазухой. Жалели нас эти бабки, особенно тех, кого из лагеря привезли или из тюрьмы, тощих, заморенных. Тайком приносили поесть. То яблочко незаметно под подушку подсунут, то конфет дешевых, то помидор. Забавно было смотреть, как они обращаются с настоящими сумасшедшими, такими, которые уже ничего не понимают, только смотрят в одну точку или бредут, не зная куда. Точно как крестьянки на коров, покрикивали они на психов безо всякой злобы: «Ну, пошел, говорю, ну, куда прешь? Ну, милый!» Так и казалось – сейчас хворостиной огреет. И вот эти-то бабки стучали на нас немилосердно. Каждую мелочь, каждое слово наше замечали и доносили сестрам, а те записывали в журнал. Случалось, и побеги готовились, а иной норовил симулировать, особенно кому грозит смертная казнь, – бабки же все замечали и обо всем тут же докладывали. А спросишь их, бывало: «Что ж вы так? Вы же ведь верующие!» – «Как же, – говорят, – работа у нас такая». Вот и спорь с ними. Может, и Брежнев неплохой человек, только работа у него скверная – генеральным секретарем.

Любопытно, что при всем многообразии книг, исследований и монографий о социализме – политических, экономических, социологических, статистических и прочих – не догадался никто написать исследования на тему: душа человека при социализме. А без такого путеводителя по лабиринтам советской души все остальные монографии просто бесполезны – более того, еще больше затуманивают предмет. Ах, как трудно, наверно, понять эту чертову Россию со стороны! Загадочная страна, загадочная русская душа!

Судя по газетам, по книгам, по их фильмам – а по чему еще судить о советской жизни? – они всем довольны. Ну нет у них политических свобод, многопартийности, а они и рады – народ и партия едины! Ведь вот у них выборы – не выборы, черт знает что такое: один кандидат, и выбирать не из кого. А участвуют в выборах 99,9 процента, причем 99,899 процента голосуют «за». Ведь вот у них жизненный уровень низкий, продуктов, говорят, не хватает – а забастовок нет! Говорят, морят их голодом по лагерям и тюрьмам безо всякой вины, за границу не выпускают, но вот – глядите же – по всем заводам и селам митинги: единодушно одобряем политику партии и правительства! Ответим на заботу партии новым повышением производительности труда! Голосуют дружно, все руки тянут – что за черт? Едут зарубежные корреспонденты, присутствуют на митингах и видят: вправду все одобряют политику партии, никто даже не воздерживается при голосовании.

Говорят, отсталая экономически страна, ручной труд и прочее, а ведь запустили первый спутник, первого человека в космос – обогнали Соединенные Штаты. Более того, имеют мощную военную промышленность, да такую, что весь мир в страхе дрожит, – откуда это? Делаются научные открытия, и какие! А Большой театр, балет? Что же это все – рабы, подневольные люди?

Ну литература у них, положим, скучная – все о производстве да о планах, о собраниях, но читают же, покупают книги – значит, им нравится. Есть и у них отдельные недостатки – так сами признают и критикуют их. Было что-то раньше, какие-то неоправданные репрес-

сии, но теперь-то нету – разобрались, осудили ошибки, невинных выпустили. И за границу их все-таки пускают. Вот и туристы, и спортсмены, и артисты, и разные там делегации – и всем довольны, и назад возвращаются. Ну, бывает, один-другой убежит, не вернется – так, может, только этим и было плохо, а остальным хорошо, остальные довольны?..

Спроси любого советского человека на улице, хорошо ему или плохо. И все ответят как по писаному: хорошо, лучше, чем у вас на Западе. А может, и вправду лучше? Образование бесплатное, медицинское обслуживание бесплатное, жилье дешевое, безработицы нет, инфляции нет. Может, подвирает западная пропаганда и жизнь у них прекрасная?

Или вот еще объяснение: может быть, для них эта жизнь лучше нашей и они люди другие, особенные, им только такая жизнь и нужна и не нужно им наших благ и свобод?

И уж совсем сбивают с толку эти самые диссиденты. Если все так плохо, как они говорят, такое бесправие и произвол, так почему они все еще в живых, даже не сидят некоторые? Значит, есть и какая-то свобода, и какие-то права? Или это просто инспирировано и выгодно советским властям? А может быть, придумано ЦРУ? Да и сколько же их, этих диссидентов? Ведь вот под какой-то там петицией протеста подписалось десять человек. Это же курам на смех – в стране, где 250 миллионов.

Ну наконец, если им всем и вправду плохо – почему нет восстаний, массовых протестов, демонстраций, забастовок? И массового террора ведь тоже больше нет? Ну, посадят там человек 10–15 в год – не то что в Чили или Южной Корее. И еще много-много недоуменных вопросов, на которые нет ответа…

И критически мыслящий западный наблюдатель после досконального, с его точки зрения, изучения вопроса приходит к двум выводам. Если наблюдатель придерживается левых взглядов: прекрасная страна СССР, прекрасный и самый передовой у нее строй. Люди счастливы и, несмотря на отдельные недостатки, строят светлое будущее. А буржуазная пропаганда, конечно, стремится ухватиться за эти отдельные недостатки и извратить, оклеветать, оболгать само светлое существо. Если наблюдатель не придерживается левых взглядов: русские – люди особенные. Что нам плохо – им очень нравится. Такие они фанатики, так рвутся строить свой социализм, что готовы отказаться от привычных нам удобств и образа жизни. И в обоих случаях – одно заключение: не нужно мешать им, нельзя запретить людям страдать, коли им это нравится, не спасать же людей вопреки их воле. Такие уж эти русские!

Да, трудно понять эту страну со стороны, почти невозможно, но легче ли изнутри? То есть легче ли понять и оценить происходящее тем самым «русским» (Запад всех нас зовет «русскими» – от молдаванина до чукчи), которые там всю жизнь живут?

Вот он, родился, этот будущий советский человек, человек нового типа. И на первых порах его никак нельзя посчитать диссидентом. Никаких особых свобод он не требует, книг запрещенных не читает, за границу не просится, против места и времени своего рождения не протестует. Он еще, правда, не знает, как уже много он должен советскому государству и родной партии. Не лежать бы ему сейчас в коляске и не сосать мирно соску, если бы не их неустанная забота. Но очень скоро с него этот долг спросят.

Родители, по занятости своей, отдадут его сперва в ясли, потом в детский сад, и если первые слова, которым он обучится, будут МАМА и ПАПА, то уж затем обязательно ЛЕНИН. Будет он, возвращаясь домой, по выходным дням удивлять своих родителей способностями, декламируя:

День Седьмого ноября —
Красный день календаря!
Посмотри в свое окно —
Все на улице красно!

Затем в школе кругозор его еще расширится. Постепенно он узнает, что Бога не было и нет, что вся история человечества есть переход из мрака к свету, от несправедливости и угнетения к свободе и социализму. Что люди во все времена мечтали жить в такой стране, как наша, – ради этого они тысячелетиями шли на восстания, жертвы, на муки и казнь. Что все великие люди прошлого стремились к тому самому обществу, которое мы наконец построили, – даже если они сами не всегда это понимали. Что такое Лев Толстой, например? Зеркало русской революции. И сейчас мир разделен пополам: с одной стороны – силы света, счастья и прогресса у нас, с другой – реакция, капитализм, империализм. И они только и мечтают, как бы уничтожить наше счастье, поработить нас так же, как порабощен народ в их собственных странах. А чтобы этого не произошло, нужно прилежно учиться, а потом вдохновенно трудиться.

Чем дальше, тем подробнее и обстоятельнее, сначала в школе, а потом в институте, в армии, на работе – изо дня в день усваиваются эти представления. В явной форме – в виде преподавания истории СССР, истории КПСС, политэкономии, научного коммунизма, научного атеизма, основ марксизма-ленинизма, диалектического материализма, исторического материализма и так далее, и тому подобное. В неявной форме – почти шепотом, как гипноз, – в кино и книгах, в полотнах и скульптурах, по радио и телевидению, в газетах, на лекциях, в учебниках математики, физики, логики, иностранного языка, в плакатах и афишах, и даже в сочинениях, переведенных с других языков мира.

И если, допустим, вы переводите из учебника французского, немецкого или английского языка текст, то это о том, как плохо живется рабочим во Франции, Западной Германии, Англии или США. Или, наоборот, о том, как хорошо живется людям под солнцем социализма. Или эпизоды из жизни великих революционеров прошлого, или о борьбе народов против капитализма. Если же вы откроете учебник логики, то в качестве примера объективной истины вам приведут: «Марксизм-ленинизм – всепобеждающее учение».

Возьмите газетные новости или кинохронику. Вам сообщают или показывают: открыт новый курорт в Болгарии, пронесся тайфун в Японии; уральские рабочие перевыполнили план; многотысячная забастовка во Франции; собирают богатый урожай на Украине; чудовищная статистика автомобильных происшествий в Америке; сдан новый жилой микрорайон в Ташкенте; разгоняют студенческую демонстрацию в Италии… И становится ясно, что там – только стихийные бедствия, катастрофы, демонстрации, забастовки, полицейские дубинки, трущобы и постоянное падение уровня жизни, а у нас – только новые курорты, заводы, урожаи, бескрайние поля, светлые улыбки, новоселы и рост благосостояния. ТАМ – черные силы реакции и империализма угнетают трудящихся и грозят нам войной, ЗДЕСЬ – светлые силы прогресса и социализма строят сияющее будущее и борются за прочный мир. И силы мира, социализма и прогресса неизбежно победят. И все это каждый день, каждый час – в тысячах газет, журналов, книг, кинофильмов, концертов, радиопередач, песен, стихов, опер, балетов и картин. И ничего, кроме этого – ничего против. И даже когда вы едете в поезде и рассеянно глядите в окно на проносящиеся пейзажи, взгляд ваш бессознательно пробегает, а мозг фиксирует выложенные вдоль дороги камушками и битым кирпичом лозунги: «Миру – мир!», «Ленин – всегда живой!», «Вперед, к победе коммунизма!»

С восьми-девяти лет почти принудительно тебя заставляют вступить в пионеры, а с четырнадцати-пятнадцати – в комсомол, то есть в молодежные политические организации с соответствующей дисциплиной. Это означает активное участие в идеологической работе – и вот уже не тебе втолковывают, а ты втолковываешь другим насчет всепобеждающего учения и требуешь от них повышения успеваемости или производительности труда во имя светлого будущего. Ведь все мы в неоплатном долгу перед партией и правительством за их заботу.

Что делать родителям? Пытаться с самого начала объяснить детям, что их обманывают? Но это опасно: дети расскажут своим друзьям, а те – своим родителям, учителям. И что посоветовать детям? Говорить открыто о своем несогласии? Или молчать, скрывать взгляды, лгать, жить двойной жизнью? Да и поверят ли дети вам, а не тому, чему учат их школа и пропаганда? Да к тому же вся эта идеология существует не только в чистом виде – она заложена во все школьные предметы: историю, литературу, ботанику, географию и т. д., а ученик обязан знать и отвечать их так, как написано в учебнике. И чаще всего родители машут рукой: э, черт с ним, вырастет – сам поймет.

Рано или поздно он понимает, ибо в жизни почти каждого жителя СССР наступает этот момент просветления. Рассказывают такой анекдот. Воспитательница в детском саду проводит беседу. Повесила на стену карту мира и объясняет: «Вот это, дети, Соединенные Штаты Америки. Там люди живут очень плохо. У них нет денег, и поэтому они не покупают своим детям конфеты и мороженое и не водят их в кино. А вот это, дети, Советский Союз. Здесь все люди счастливы, и живут хорошо, и покупают своим детям конфеты каждый день, и мороженое, и водят их в кино». Вдруг маленькая девочка плачет. «Что ты, Таня, плачешь?» – спрашивает воспитательница. «Хочу в Советский Союз!» – всхлипывает она.

Но это только первый импульс, первое недоразумение. Обыкновенно человек долгое время ощущает гордость и радость от того, что он живет в такой замечательной, единственной стране. В самом деле, надо же, чтобы человеку так повезло – родиться именно здесь и теперь! Всего каких-нибудь три тысячи километров на запад или 50 лет назад, и столько несчастий, столько горя и угнетения. И только одно слегка беспокоит: зачем так много об этом кричать? Ну, хорошо, знаем уже, слышали, рады и счастливы, самая лучшая, самая первая, самая прогрессивная! Будем помнить, спасибо, разве такое забудешь? Да неужели еще кто не усвоил?

Постепенно вы начинаете различать, что не все так гладко в жизни, как в газетах. Живут все, за исключением большого начальства, от получки до получки. А перед получкой уже несколько дней еле-еле концы сводят, норовят друг у друга занять. А уж одежду купить, или мебель, или телевизор – так надо извернуться, сэкономить или на стороне приработать. Опять же все время какие-то нехватки – то мяса нет, то масло пропало, то картошка не уродилась. Очереди всюду – их уже почти не воспринимаешь, только отстаиваешь часами.

Потом уж очень раздражает человека бесхозяйственность, нерациональность. Вот привезли вам под окна какую-то кучу бревен или кирпича. Везли, торопились, разгружали, а потом лежит себе эта куча и год, и другой, пока не сгниет. Никому не нужно. То вдруг раскопают улицу – ни пройти, ни проехать. Полгода что-то чинят – говорят, водопровод. И точно, перестает идти из крана вода. Наконец починят, закопают улицу. Привозят асфальт, и бабы, обычно вручную, этот асфальт укатывают. Не успел застыть – глядь, опять приехали и раскопали, опять месяца три-четыре ни пройти, ни проехать. Теперь, говорят, газ чинят – и точно, перестает идти газ. Ну чего бы, казалось, сразу его не чинить, пока раскопано было? Или вот еще бедствие: крыша в доме протекла. Это уж форменное бедствие, потому что добиться ее ремонта – дело почти невозможное. Ходят целые делегации жильцов – и в райсовет, и в горсовет, и к депутатам, пишут жалобы, собирают петиции, приезжают какие-то комиссии – крышу обследуют, устанавливают, что точно, течет крыша. Но нет денег на ремонт, не запланировано. И так иногда годами. А пока что собирают жильцы старые корыта, тазы и ведра, подставляют на чердаке под течь и с тревогой смотрят по утрам на небо – будет дождь или нет.

Казалось бы, совсем незначительный факт, но врезался мне в память с детства. Невдалеке от нашего дома был магазин, куда мне часто приходилось бегать то за хлебом, то за сахаром. Магазин был на другой стороне улицы, метрах в двухстах от перекрестка, где обозначен переход. Большинству людей, чтобы попасть в магазин, не нарушая правил перехода,

нужно было пройти эти 200 метров до угла, а затем еще 200 метров – по другой стороне до магазина. Естественно, что все норовили перейти улицу напротив магазина, не делая крюка. Но именно здесь, затаясь в засаде, поджидал их милиционер и нещадно штрафовал. И видно, получал неплохой доход для государства, так как никакая опасность – быть оштрафованным или попасть под машину – не могла заставить людей идти лишних 400 метров. Не только мы, пацаны, но и взрослые люди, даже старые бабки в валенках и с кирзовыми кошелками в руках рысцой бежали через эту улицу под свист милиционера. Вроде бы чего проще: разреши людям переход, раз им это удобней. Нет, десятилетиями, на моей памяти, стоял там милиционер, собирая дань.

Трудно сказать, что двигало властями – экономическая ли выгода или желание отстоять свой авторитет, но эпизод этот очень типичен. Порядки, вводимые властями на моей памяти, всегда были противоестественны, противоречили здравому смыслу и всегда вводились под угрозой наказания. Не сказать, чтобы это меняло психологию людей или приучало их к повиновению, но зато все оказывались виновными перед государством, любого можно было наказать. Стояла за этим и типичная философия порядка, государственной власти. Дескать, разреши людям делать, что они хотят, и что получится? Совсем никакого порядка не будет в государстве.

Все эти мелочи, накапливаясь, затуманивают, конечно, счастье советского человека, его веру в светлое будущее. Но тысячеустый хор газет и журналов, кинофильмов и радиопередач, лекторов и просветителей уже готов ему все объяснить:

– Зачем же так сразу обобщать, товарищи! Да, есть у нас отдельные недостатки и временные трудности. Местные власти часто работают еще недостаточно четко. Мы их критикуем, поправляем. Не нужно забывать, что мы идем, так сказать, по нехоженой тропе, первые строим новое общество, подсказать нам некому, порой и ошибаемся. Но посмотрите, сколько уже достигнуто, сколько сделано по сравнению с 1913 годом! Конечно, частично, во имя создания в будущем самого совершенного общества, мы должны пойти на определенные жертвы. Если сейчас и не всегда легко, то потом наши дети будут благодарить нас. Ведь как бы мы ни ошибались в отдельных случаях, в целом-то мы идем правильным путем, идеи-то наши светлые. Не нужно забывать и о капиталистическом окружении, которое нам вредит и будет вредить. Они только и ждут, чтоб мы расслабились, усомнились в своей правоте. Враг не дремлет! И чтобы с ним успешно бороться, тоже нужно приносить определенные жертвы. (И так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее.)

И что ты тут скажешь? Ну, нельзя же в самом деле утверждать, что если у меня крыша течет, то и коммунизм плох или строить его не нужно. Или если мяса сейчас не хватает, то не нужно было делать революцию.

А годы идут, складываются в десятилетия, и уже знает советский человек, что самое постоянное в его жизни – это временные трудности. Но что ж, если в моем районе или области или у меня на работе, в той отрасли хозяйства, где я работаю, бесхозяйственность, неустроенность и обман, то это же не доказывает, что везде плохо и никогда не будет лучше. Ведь вот запускаем людей в космос, балет наш едет за границу с большим успехом, строим огромные заводы, плотины, значит, не везде и не все плохо, в чем-то и мы сильны. И уж, по крайней мере, не так плохо, как там, на Западе. У них что ни месяц – забастовка. Это уж, должно быть, совсем скверно жить людям, если на такое решаются. И безработицы у нас нет, с голоду не умираем.

А годы идут, и ничего не меняется, и возникает уже сомнение: да строим ли мы этот коммунизм? Может, еще и не начинали? Ведь вот с 17-го по 22-й год, ясное дело, никакой советской власти не было, была гражданская война. Потом, до 30-го года, – нэп, а это, известно, было отступление. Затем до 53-го – культ личности, тоже никак не советская власть. Дальше, до 64-го, Хрущев, оказывается, все не так делал – вовремя спохватились,

сняли. Выходит, с 65-го только и начали правильную жизнь? Да еще подождать надо – может, и этого снимут или после смерти объяснят, что все было неправильно.

Нестойкое это состояние неуверенности быстро сменяется убеждением в полной лживости пропаганды. Как ни сложно получить информацию, а все-таки и мы не совсем изолированы. И выясняется, что в других областях и районах ничуть не лучше, а порой – хуже, чем у нас, что в других отраслях хозяйства такой же бардак, что космос – сплошная туфта, а крупнейшие эти заводы и плотины строили зэки за пайку хлеба. Вот только насчет балета ничего не выясняется – как он, этот балет, не разваливается? Ну да и черт с ним, с балетом, не тем живы.

Более того, просачивается к нам, что и на Западе не все так (все не так), как нам пели. И безработным, оказывается, платят за то, что они не работают. Вот фантастика – у нас бы в Сибирь сослали, а там деньги платят. У каждого автомобиль, колбаса в магазине всех сортов, и никаких очередей – рай, сказка! И – копилась вера в светлое будущее.

Один мой знакомый, еще в 50-е годы, провел такой забавный эксперимент. Был он в магазине, стоял в очереди за молоком. Очередь была громадная, продавцы работали медленно, лениво. Начала очередь роптать, как водится, что не всем хватит да что медленно отпускают. В одну из пауз между взрывами народного гнева знакомый мой возьми да и скажи, громко и внятно: «Безобразие развели! Очередь на полдня. Совсем как в Америке!» И обрушилось на него народное негодование: «Да что вы, гражданин, какая Америка? Такое только у нас возможно!» Долго еще поглядывали на него укоризненно и с сожалением.

Дальше – больше. Стало, например, выясняться, что, пока у нас у всех временные трудности, у них там, в обкомах-горкомах да в Кремле, уже давно коммунизм построен. Тайно промеж себя распределяют икру, колбасу, всякие импортные товары. Понастроили себе виллы, огородили заборами, поставили охрану, чтоб никто не увидел, как они эту икру лопают. Наплевать им на нас, хоть сдохни!

И это еще самый долгий путь размышлений и прозрений у самого благополучного человека. Обычно же все происходит быстрее. Рано или поздно сталкивается человек с такой вопиющей несправедливостью или ложью, что уж молчать не может. Толчок может быть любой, лишь бы привел он к прямому столкновению с властью. Очень это полезно, когда трудящийся общается со своею рабоче-крестьянской властью в качестве просителя или протестующего. По вопросам ли прописки, протекающей крыши, бесхозяйственности на работе или получения квартиры, а ясней всего, когда твоего родственника посадили в тюрьму ни за что ни про что. И начинает трудящийся добиваться правды, искать, писать жалобы, петиции, ходить на приемы, начинают ему приходить ответы один другого наглее – или вообще никаких ответов.

«Как же так, в моем рабоче-крестьянском государстве? – ярится трудящийся. – А ну в „Правду“, а ну в ЦК!» И опять ничего. А на приемах, если он их добьется, смотрит на него бревно в очках и губами чмокает – и опять ничего! Аж зайдется трудящийся! Куда только не пишет: и в Комитет советских женщин, и в Общество защиты животных, и космонавтам, и даже в ООН. И чем дальше, тем свирепее. Таких вещей понапишет про советскую власть, что и сам удивляется, откуда у него взялись такие мысли. Особенно если он участник Великой войны или еще чем заслуженный.

А зэки – те додумались даже в Мавзолей Ленину жалобы писать! Вы ж говорите, он вечно живой – пусть разбирается. И ничего, аккуратно извещает комендатура Кремля, что жалоба переслана по принадлежности. Ответ обычно приходит из районной прокуратуры. Обычный ответ, что все по закону и жаловаться не на что.

Вообще же все жалобы стекаются именно к тому бревну в очках, на нечувствительность которого ты жалуешься. И приходит самый успокаивающий ответ – сочувствуем, все

понимаем, помочь, правда, не можем. И светлеет трудящийся. Поразительно, как быстро вспоминает он все, чему учили его в школе, всю историю Советского Союза, всю литературу с географией, всю эту пропаганду, что с пеленок твердила ему про отдельные недостатки и временные трудности, про светлое будущее и капиталистическое окружение, и про зеркало русской революции, и даже стишки про Ленина из детского сада.

А пропаганда – знай себе наяривает как ни в чем не бывало: и про тайфун в Японии, и про курорт в Болгарии, про урожай на целине, про забастовку в Англии, про светлые дали, про силы мира и прогресса. И так день и ночь, день и ночь со всех сторон. И сатанеет трудящийся. Вокруг ходят люди, миллионы людей, выполняют планы, принимают трудовые обязательства, отвечают на заботу партии повышением производительности труда и – *ничего не знают*. Как только они узнают, как только я им объясню, они остановятся, все изменится, все станет другим. Эй, люди! Стойте! Дайте мне микрофоны! Пустите меня к микрофонам! Чтоб – ГОВОРИТ МОСКВА И ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Да что там Москва! Надо, чтоб весь мир, вся планета!

В таком состоянии трудящийся совершает некоторые стандартные поступки. Он пытается выступить на собрании с разоблачительной речью, распространить листовки, передать через иностранцев послание в ООН или президенту США. И уж, как минимум, широко и открыто высказываться в кругу знакомых. Его не оставляет необыкновенное чувство свободы и всемогущества. Простое человеческое слово кажется ему мощным оружием, способным двигать горы и поворачивать реки. Но замечает трудящийся, что никто не жаждет его выслушать. Напротив, создается вокруг него некоторый вакуум, точнее сказать – духота. На собрании ему слова не дают, знакомые смотрят в сторону, стараются свести разговор в шутку и поспешно вспоминают о каких-то срочных делах. Жена с утра в слезах, бранит его эгоистом, себялюбцем, разбившим ей жизнь. Внезапно приезжает из Калуги теща, которой уже пять лет слышно не было, и решительно уговаривает дочь уехать к себе.

А на работе, ближе к обеду, вызывают его зачем-то срочно в отдел кадров. И там вежливый, но настойчивый человек лет сорока, в сером хорошем костюме, аккуратно причесанный, по имени Николай Иваныч, или Владимир Иваныч, или, в крайнем случае, Сергей Петрович предлагает ему проехаться – тут недалеко, к нему на службу. Нет-нет, вещей никаких брать не нужно, жене звонить тоже не нужно и заезжать домой незачем – это ненадолго. И даже переодеваться не нужно. Далее Николай Иваныч, Владимир Федорыч или, на худой конец, Петр Сергеевич провожает его к машине, и вместе они едут – действительно не слишком далеко. Поднимаются по лестнице обычного с виду многоквартирного дома, заходят в одну из дверей, которая оказывается коридором с рядом дверей. За одной из них, в служебном кабинете, за столом, сидит человек лет пятидесяти, седоватый, в сером костюме, которого зовут Николай Петрович, или Сергей Иваныч, или, в худшем случае, Владимир Федорович.

– Присаживайтесь, – говорят ему вежливо, – как жизнь, как на работе? – А за окном пылко дышит лето или, наоборот, добрый морозный день, а то и зрелая румяная осень. И так бы хорошо сейчас где-нибудь пройтись по лесу, где-нибудь далеко-далеко, где не слышно цивилизации.

Начинает трудящийся излагать свои открытия – хоть и с некоторым напором, но уже без того накала. Пытается даже раззадорить себя, но как-то не ощущает больше мировой трагедии, бурления страстей и порыва к микрофонам. Сами собой как-то смягчаются выражения и выводы, напрашиваются обтекаемые формулировки и уменьшительно-ласкательные эпитеты. А Владимир Николаич, Сергей Петрович, а может, и Иван Иваныч слушает молча, по-отечески, изредка кивая головой, помечает что-то в блокноте и, дождавшись паузы в сбивчивом рассказе, говорит:

– А кому еще вы об этом рассказывали? Тааак… А кто еще при этом присутствовал? Так-так. А письмо в ООН вы кому показывали? И уж за границу собрались бежать? Так-так-так! Что ж это получается? Родина о вас заботилась, сил не жалела, вырастила вас, воспитала, ни в чем не отказывала, а вы? И это в то время, когда наши враги так и ищут, как бы нам навредить! Ну, а если бы вы оказались за границей? Вас бы там в контрразведке стали спрашивать – где работали, да где в армии служили, да какой номер части, да какое оружие…

От такого предположения трудящегося аж в пот бросает – нет-нет, только не это! Тут Владимир Иваныч, он же Николай Петрович, он же Сергей Михалыч достает из стола довольно объемистую папку, открывает ее, и трудящийся, к ужасу своему, видит, что все его жалобы, заявления и протесты, в том числе в ООН, уже лежат там с какими-то пометками синим карандашом.

Господи, много ль человеку надо? Ну нет мяса – можно картошки купить, кефиру, наконец. Ну течет крыша, так подставь ведро, только-то и дел. Ну где-то что-то не так – может, и неправильно, да разве все зло в мире исправишь? Мало платят? Так можно вечером подработать или еще как. А что врут – так оно везде врут, и всегда врут, и будут врать, и во все века врали. Разве я за это отвечаю, разве я что-то изменить могу?

Звонит телефон, и Владимир Николаич или черт его знает кто берет трубку:

– Да? – И вдруг весь подбирается, выпрямляется в кресле. – Да, товарищ генерал. Да, у меня. Вот, беседуем. Я думаю, пока не будем, товарищ генерал. Нет, я думаю, не стоит. Ну, устал человек на работе, бывает. Конечно. Да. Слушаюсь. Есть! Ну что же, распишитесь здесь и здесь. И вот тут. Можете теперь идти… домой. Если понадобитесь – вызовем. До свиданья.

И если он не успел натворить слишком много, его не арестуют, нет. Если б всех таких сажать, пришлось бы переловить полстраны, а это теперь не требуется – достаточно одного на десять тысяч таких прозревших упрятать, самого нахрапистого, чтобы другие боялись. Раньше – другое дело. Еще бы и рта не успел раскрыть – уже ехал бы этапом. Теперь времена другие. Никто не требует, чтобы ты любил эту власть или верил в нее, – достаточно, чтобы ты ее боялся, был покорным, выполнял план, поднимал руку на собрании, единодушно одобрял и гневно осуждал…

И бежит наш трудящийся по весенним или осенним, зимним улицам легким галопом домой – к жене и теще из Калуги. Только что приоткрылась для него тяжелая дверь и пахнуло на него подвальной сыростью, какой-то гнилью и безнадежностью, но, слава Богу, обошлось. Через недельку-другую соберут общее собрание трудящихся, выступят парторг, комсорг и представитель месткома, гневно осудят, будут клеймить позором, старенький мастер Петрович заявит, что, по его мнению, таким не место в рабочем коллективе. Сам он выступит, покается и пообещает исправиться. Где-нибудь с краешку, незаметно, будет сидеть Николай Иваныч, Петрович, Сергеич. Нет-нет, он не хочет в президиум, выступать он не собирается, он хочет поприсутствовать, послушать, как товарищи выступают. Под конец собрание трудящихся, вдоволь навыступавшись, поручится за своего заблудшего, пообещает коллективно его исправить, проголосует и удовлетворенно разойдется по домам. И где-нибудь вечерком, у пивного ларька, старый мастер Петрович, более всех распинавшийся днем, скажет нашему трудящемуся за кружкой пива:

– Так-то, голубок, ПЛЕТЬЮ ОБУХА НЕ ПЕРЕШИБЕШЬ!

Посмотри, трудящийся, посмотри пристально в глаза своим сослуживцам, посмотри на толпы людей, текущих по улицам, в кинотеатрах, на стадионах или даже во Дворце съездов – и ты увидишь: подавляющее большинство их уже знает все насчет плети и обуха. Ну, что ты мог сказать им? Каждый из них пережил или переживет еще эту судорогу прозрения. Подергается, подергается и затихнет – и ничем ты их больше не выведешь из равновесия. Что ты можешь сказать им в коротенькой листовке или даже по всем радиостанциям Советского

Союза? Они-то знают, помнят еще то лихое время, когда каждую ночь кружили по улицам воронки и собирали свою дань. Они и войну помнят. Уж какая, казалось бы, силища перла, а и та не перешибла обуха. Они оттого молчат, что знают, а не оттого, что не знают. Можно ли упрекать их в этом?

Помню, в Сибири, в экспедиции, на одной из наших лесных стоянок где-то под Читой, я поймал трех муравьев и бросил их в кружку – хотелось мне посмотреть, насколько муравьи лучше людей. Естественно, они попытались выбраться, но я стряхнул их на дно. Они опять попытались – я опять стряхнул. В общей сложности они сделали около ста восьмидесяти попыток – и все, конечно, безрезультатно. Потом они затихли на дне, сползлись и уселись в кружок. Интересно, о чем они думали или говорили? Я долго смотрел за ними, но они больше не попытались убежать. Кружка с муравьями простояла в траве почти три дня. Несколько раз моросил дождь, садилось и вставало солнце, но они так и сидели в кружок и шевелили усами – должно быть, анекдоты рассказывали.

А что им остается делать? Они уже все поняли, им больше ничего не надо. Им бы и хотелось сузить свой мир до пределов семьи, квартиры, жить тихими муравьиными радостями, весенним теплым днем вылезти на солнышко, выпить на троих. Радоваться минуте, пока она солнечная, пока так уютно где-нибудь на бочках за пивнушкой и каждая минута состоит из шестидесяти блаженных секунд, а выпивка еще растягивает каждую секунду. Да не оставляют, не дают человеку жить его маленьким миром. Всюду его настигает пропаганда, вездесущий крикливый голос, заглушая весеннее чириканье. Словно горное эхо, несется этот глас со всех сторон, порождая странное существо, которое бродит между нами, – анекдот. И, выпив в укромном уголке, не может советский человек насладиться моментом, прет из него то, что он весь день сдерживал. Анекдот выглядывает из-за плеча, вечный «четвертый». И, закусывая плавленым сырком, говорит:

– А знаете, как добиться изобилия? Включи холодильник в радиосеть – всегда будет полон.

Потому что хочет того или не хочет советский человек, но происходит в его душе постоянный диалог с советской пропагандой.

Включает человек телевизор, придя с работы: на экране Брежнев. Переключил на вторую программу – опять Брежнев. На третью – опять. На четвертую, учебную, – а с экрана кулак и голос: «Ты у меня докрутишься!»

В воображении советского человека вечный истошный пропагандный крик воплощается в наглую морду, которая расталкивает и отталкивает его мысли. Морду-то мы эту видим, да нельзя в нее ни долбануть, ни харкнуть. И человек пытается ей хоть ответить: да ты посмотри по сторонам, о чем ты говоришь, ничего же этого нет! А морда знай свое вопит, точно и не слышит тебя. И не выключишь ее, сколько ни крути, сколько ни выключай телевизор.

В психиатрической спецбольнице в Ленинграде был у нас такой больной, который целый день вел бесконечный спор с пропагандой. Сидит у себя на кровати и возмущается: «Ну вот, опять завели, вот бред, вот сброд проклятый! Электрификация, индустриализация, химизация! Хи-ме-ри-зация все это!» Постепенно расходясь, он до крика доходил: «Тьфу, бред! Вот сброд, тьфу!»

Как-то в минуту внутреннего затишья рассказал он мне свою невероятную историю. Признался, что спор с пропагандой ведет лет с двадцати (а было ему тогда уже под пятьдесят), только спорил не вслух. Однажды его наконец прорвало, и на каком-то собрании он высказал все, что у него накопилось. Посадили.

– Сижу я в камере и, как обычно, спорю. С ними же не спорить – совсем обнаглеют, житья не будет. Заспорились за полночь – больно спор горячий был, это когда Никита заявил, что у нас нет политзаключенных. Я уже до мата дошел, а тот сидит себе с невозмутимым

видом и знай свое повторяет. К утру я аж охрип. Подошел завтрак, открыли кормушку и суют пайку. Одну! Точно не видят, что нас двое. Я в дверь стучать, скандалить, приходит начальник тюрьмы: «Как фамилия?» – говорит. Называюсь. «А второго?» Тот, сволочь, за мной повторяет. «Ничего не знаю, – говорит начальник тюрьмы, – у меня здесь один такой числится. Не положено». Сколько я ни скандалил, и прокурора вызывал, и самому Хрущеву писал – бесполезно. А тот все норовит первым к кормушке подлететь и мою паечку зацапать, и сахарок. Так и пришлось мне его кормить. И баланду, и кашу – хлебаем из одной миски и все спорим, спорим, есть у нас политзаключенные или нет. Наглая морда – вместе же сидим в тюрьме, на одних нарах спим, одним бушлатом укрываемся, а он все свое. Вот сброд проклятый, тьфу! Повезли нас на экспертизу – обоих. Профессор, умный такой, в очках, еврей, между прочим, спрашивает: «Ваша фамилия как? А ваша?» Называем хором. «А, – говорит понимающе так, – раздвоение личности? Бывает… И давно это у вас началось?» Видим, человек сочувствующий, мы ему про пайку. Он опять головой кивает, прописал две пайки, каждому отдельную койку. «Не волнуйтесь, – говорит, – вам обоим все это только кажется, подлечитесь – пройдет». А потом начал про взгляды выспрашивать. Тот ему как завел свое обычное – профессор головой закивал и даже записывать не стал. Я ж только рот открою – хмурится и строчит. Ему, гаду, таблетки слабенькие прописал, а мне уколы – вот ведь бред! Каким-то чудом узнали про нас за границей, крик подняли – ишь, говорят, советская власть держит в заточении двух братьев – борцов за свободу. Сам Арагон, говорят, статью в «Юманите» написал, а «Дейли уоркер» выразила сожаление: зря, мол, московские товарищи нарушают ленинские нормы. Так наши что придумали, сволочи? Выпустили, сброд проклятый! Его, а не меня. Сидит он теперь, мерзавец, в Париже и по березкам тоскует. По вечерам московское радио ловит, в посольство ходит, назад просится, в советские газеты пишет: «Не хочу больше жить на гнилом Западе». Они его печатать печатают, а обратно не впускают. Наших туристов водят на него посмотреть: вот оно как тошно без советской родины. Пьет горькую, а с похмелья Арагону звонит: «Черта лысого ты меня сюда вытащил? И метро у вас грязное, и похмелиться не на что. Лучше б я в родной тюряге сидел». Тот ему сразу чек на опохмелку. А про меня и забыли. Сброд собачий! Ну, бред, тьфу… – И опять зашелся.

Вот они, советские люди, валят толпой по переходам в метро, по бульварам, молча, мимо газетных стендов, только выловит глазами заголовок в газете и ощерится. Все молчат – каждый ведет свой диалог. И за целую жизнь накипает такая злоба – весь свет им не мил.

Тащится интеллигентный старичок по Арбату, в «Прагу» за продуктами, тихий такой старичок, никого не трогает. «Ага, – рассуждает он сам с собой, – солнце светит, солнышко вызверилось, – опять скажут – достижение социализма». Ненавистно ему небо – советское; листочки зеленые – и те будто с первомайского плаката. Газета висит – свежая, а ну, чего еще они там наврали? И ведь знает, что наврали, и противно читать, ан нет – станет, проглядит, чтобы душу растравить. «Ага, урожай! Опять небывалый, опять в рекордные сроки. Опять, значит, в Канаду за хлебушком. Студенты на колхозных полях. Ну да, как обычно: колхозники, поможем студентам наполнить государственные закрома. Забастовка во Франции. Ничего, добастуетесь, покажут вам забастовки. Разгон студенческой демонстрации. Сюда бы их, этих студентов, на картошку, живо отучились бы демонстрировать». Один только товарищ Пиночет радует его сердце: «Взвыли, голубчики, когда ваших прижали? Жми и дальше, дорогой, на тебя одна надежда, везде бы так». Нет, так уж устроен советский человек, что не может пройти мимо этого, отгородиться – как наркотик, как допинг нужно ему травить душу этим ядом.

Этот вот самый старикашка всю жизнь до пенсии работал в той же самой газете, всю жизнь писал про те же небывалые урожаи. Или пусть не писал, пусть был наборщиком или печатником, мастером на заводе или школьным учителем. Почему, в самом деле, производить колючую проволоку – не преступление, а надзирателем работать – преступление? Так

или иначе, все вовлечены в преступления власти, все работают на государственных предприятиях, укрепляя этим систему, создавая ей ценности. Все поднимают руки на собраниях, голосуют на выборах и – самое главное – не протестуют. Что бы ты ни сделал, объявляется достижением системы. Научное открытие, новая симфония, победа на Олимпийских играх – все новая победа социализма, доказательство его прогрессивности. Так почему же тогда делать открытия, писать музыку, играть в хоккей или перевыполнять план на заводе можно, а создавать советскую пропаганду – нельзя?

Почему нельзя быть членом партии или комсомола? Там же ничего особенного не делают, от рядового члена ничего и не требуется – только взносы плати. А дальше никто твоего согласия и не спросит – пошлют ли тебя работать в КГБ или в милицию, какая разница? Не меня, так другого. Работа как работа – приказы выполнять. У нас ведь все чиновники, все служащие государства. И там люди не хуже других, просто работа у них такая. Ну, а те, что отдают приказы, те, что на самом верху? Но и они лишь чиновники, рабы системы, рабы внутренней борьбы за власть. И если сейчас в Москве провести суд наподобие Нюрнбергского, никакие судьи и прокуроры виновных не найдут. Сверху донизу уже никто не верит в марксистские догмы, но продолжает ими руководствоваться, ссылаться на них и ими бить друг друга – это доказательство лояльности, хлебная карточка.

Так как же эта таинственная душа примиряет в себе – думать одно, говорить другое, а делать третье? Одними анекдотами здесь не отделаешься, и даже муравьям, чтобы оправдать свою покорность, нужно развить целую теорию.

– Плетью обуха не перешибешь.

– Что я могу сделать один? (Если бы все, тогда и я.)

– Не я, так другой. (И я лучше, я сделаю меньше зла.)

– Ради главного следует идти на компромиссы, уступки и жертвы. (Так и Церковь считает, что ради самосохранения надо идти на уступки, – уступкам конца не было, и вот уже священников назначает КГБ, а с амвона возглашают здравицу советской власти. Так и писатель, стремясь напечатать свое нужное читателям произведение, соглашается там вычеркнуть строчку, здесь добавить абзац, изменить конец, убрать действующее лицо, пересмотреть название, и глядишь – главное-то уже потерялось! Все равно – гордится писатель: на такой-то странице намек, а отрицательный герой и вообще чуть не открыто ВСЕ говорит – правда, потом перевоспитывается и говорит совсем другое.)

– Служить надо России, коммунисты когда-нибудь сами собой исчезнут. (Это особенно распространено у ученых и военных.)

– Служить надо вечному, создавать непреходящие ценности науки и культуры, а «мышиная возня» протестов отрывает от этого служения.

– Ни в коем случае не протестовать открыто – это провокация, это только озлобит власти и обрушит удар на невинных.

– Открытые протесты играют на руку сторонникам твердого курса в Политбюро и мешают «голубям» проводить либерализацию.

– Открытые протесты мешают успехам либерализации, которых можно достичь с помощью большой политики и тайной дипломатии.

– Протестовать по мелочам – только раскрывать себя. Нужно затаиться. Вот когда придет решающий момент, тогда да! – а пока замаскируемся.

– Только не сейчас, сейчас самый неподходящий момент: жена рожает, дети болеют, сначала надо диссертацию защитить, сын в институт поступает… (И так далее – до конца жизни.)

– Чем хуже – тем лучше. Нужно сознательно доводить все нелепости системы до абсурда, пока чаша терпения не переполнится и народ не поймет, что происходит.

– Россия – страна рабов. Никогда у русских не было демократии и не будет. Они к ней не способны – нечего и пытаться. С нашим народом иначе нельзя!

– Народ безмолвствует. Какое право имеет кучка недовольных высказываться – кого они представляют, чье мнение выражают?

Слышал я даже такое рассуждение:

– Ваши протесты вводят в заблуждение мировое общественное мнение: люди на Западе могут подумать, что у нас есть возможность говорить открыто или что-нибудь изменить, – следовательно, это на руку советской пропаганде.

– Надо спокойно сделать карьеру, проникнуть наверх и оттуда пытаться что-то изменить – снизу ничего не сделаешь.

– Надо войти в доверие к советникам вождей, воспитывать их и поучать в тишине – только так можно повлиять на государственный курс.

– Вы протестуйте, а я не буду – должен же кто-то остаться живым свидетелем. (Это я слышал в лагере перед голодовкой.)

– Была бы новая теория вместо марксизма, чтобы увлечь людей, – а на одном отрицании ничего не построишь.

– Коммунизм ниспослан России за грехи, а Божьему наказанию и противиться грешно.

И так все – от членов политбюро, академиков и писателей до рабочих и колхозников – находят свое оправдание. Причем чаще всего люди искренне верят, что это их подлинные чувства. Редко кто сознает, что это лишь отговорка, самооправдание. И уж совсем мало кто открыто и честно признается, что просто боится репрессий. Всего один за всю мою жизнь сказал мне, что его устраивает коммунистическое государство: оно позволяет ему зарабатывать деньги, печатая всякую демагогическую чушь в газетах.

– В нормальном государстве, – говорил он, – меня бы на пушечный выстрел не подпустили к печати! Что бы я делал? Грузчиком работал?

В сущности, только так называемые истинно-православные, секта, отколовшаяся от Православной Церкви и не признающая советского государства, считающая, что оно от дьявола, – только они и не поддерживают эту систему насилия. Но их немного, и сидят они все по тюрьмам, потому что отказываются работать на государство. Они не читают газет, не слушают радио, не берут в руки официальных бумаг, а чиновников, в том числе и следователей, крестят – сгинь, Сатана. На воле живут они тем, что подрабатывают у частных людей.

Ну, может, еще бродяги, питающиеся подаянием, живут вне советской системы (в лагерях они, однако, работают). Остальные же – хотят они этого или не хотят – строят коммунизм. Государству наплевать, какими теориями они оправдывают свое участие в этом строительстве, что они думают и что чувствуют. До тех пор пока они не сопротивляются, не протестуют и не высказывают публично несогласия, они устраивают советское государство. Любви никто не требует, все просто и цинично: хочешь новую квартиру – выступи на собрании; хочешь получать на 20–30 рублей больше, занимать руководящий пост – вступай в партию; не хочешь лишиться определенных благ, нажить неприятности – голосуй на собраниях, работай и молчи. Все так делают – кому охота плевать против ветра? На том и стоит это государство, продолжает морить людей по тюрьмам, держать всех в страхе, порабощать другие народы, угрожать всему миру.

Чего же требовать от капитана Дойникова? Однажды он мне сказал: «Вот освободитесь – будете вспоминать меня с ненавистью, так ведь?» – «За что?» – спросил я. «Ну как же, тюремщик, в тюрьме вас держал, морил голодом, не давал писем».

Нет, за те одиннадцать лет, что просидел я в общей сложности по разным лагерям да тюрьмам, не стал я ненавидеть надзирателей, особенно тех, кто сам от себя зла не делал. В тюрьме же и подавно надзирателю не позавидуешь. Большую часть своего времени он сам в тюрьме, сам заключенный. А ну-ка, походи целый день по коридору, да еще если в

ночную смену – взвоешь. Все время мат, жестокость, ненависть. За день зэки в кормушку тебе столько насуют, что на всю жизнь хватит, – звереют люди. Иной надзиратель настолько привыкает к ругани, что сам не свой, пока не обложат его из какой-нибудь камеры. Ходит, задирается, вызывает на ругань – душа болит. Один старшина, старый уже, так зверел от скуки в ночную смену, что мяукал, лаял, ослом кричал, – заедало его, что вот зэки спят, а ему спать нельзя. Другой ходил по коридору и громко орал: «Кто здесь начальник, а? Я спрашиваю, кто здесь начальник?» – «Ты начальник, так тебя и эдак!» – кричали зэки из камер. «То-то же, туда вас и сюда!» И через две-три *минуты* опять: «Кто здесь начальник, а? Я вас спрашиваю, кто здесь начальник?»

Молодые же надзиратели проявляли к нам как минимум интерес, если не симпатию. На обыске с любопытством разглядывали наши книги, листали, даже спрашивал и тайком, что за книга да о чем в ней написано. Теперь вот, после статьи Сухарева в «Литературной газете», во время очередного шмона внимательно прочли мой приговор, незаметно для офицера передавали его друг другу, посмеивались. Очень бы я хотел, чтобы замминистра юстиции посмотрел на их усмешки.

За что же их ненавидеть? Уж если кого и ненавидеть, так тех, кто там наверху дерется за портфели, забыв обо всем на свете, тех, кто от имени всего народа вещает с высоких трибун, да тех, кто за хорошую плату их восхваляет в стихах и прозе. Тех, по чьему приказу затопляют кровью страну вот уже скоро 60 лет. Но и их я не мог ненавидеть. Презирать мог так же, как все их общество, так же, как их идеологию и самооправдания, психологию рабов и поработителей одновременно. Презирал я советского человека. Не того, который изображен на плакатах или в советской литературе, а того, который существует на самом деле, у которого нет ни чести, ни гордости, ни чувства личной ответственности, который может один на медведя с рогатиной ходить, а мимо милиции идет – робеет, аж пот его прошибает. Который предаст и продаст отца родного, лишь бы на него начальник кулаком не стучал. Трагедия же заключалась в том, что сидел он в каждом из нас, и пока мы не преодолеем в себе этого советского человека – ничего не изменится в нашей жизни. Он-то и держал меня в тюрьме. Таким образом, и с этой стороны выходило, что сидеть мне еще много, видимо, до конца жизни.

Куда же, однако, меня везут? Чекист мой слева задремал, даже всхрапнул. И вдруг, точно от толчка, проснулся, испуганно озираясь по сторонам. Все так же неслись мы с бешеной скоростью – спереди милицейская машина, сзади милицейская машина. Все так же мелькали они своими фонарями. Но чувствовалось, что подъезжаем к городу. Москва, наверное. Вот завертелись поворот за поворотом, скорость сбавили. Да, видно, в Москве. Куда теперь? В Лефортово? Действительно, минут через 20 въезжаем мы уже в знакомые лефортовские ворота.

Приехать в знакомую тюрьму – все равно что домой вернуться. Вылез из машины, повели в боксы – опять шмонать. «А вещи мои!» – «Не беспокойтесь». Навстречу подполковник Степанов, старый мой приятель, смеется, бес. «Как дОехали, хОрОшО?» Все так же окает, как и десять лет назад. Так я и не выяснил, вологодский он, володимирский или костромской. Теперь все более или менее ясно – успокоился я. Скорее всего привезли меня опять уговаривать отречься от своих взглядов, примириться с властью. Может, даже по Москве поводят.

Так-то вот Роде прошлой зимой возили в Ригу. Катали по городу, даже к матери завезли, все уговаривали – видите, какая жизнь вокруг хорошая. Пока вы 15 лет сидели, у нас жизнь шла, социализм построили, все довольны. Пишите помилование – и вас выпустят. Не на того напали. Покатался Роде, повидал мать, посмотрел свою Ригу и уперся: везите назад во Владимир. Так ни с чем и привезли его назад.

Конечно, может быть, привезли меня на следствие. Весьма возможно, опять кого-то из ребят арестовали в Москве, опять их ниточки на меня вывели. Так уже допрашивали меня и по делу Хаустова, и по делу Суперфина, и по делу Якира, и по делу Осипова – только давно убедились чекисты, что ничего от меня не добьешься, и возить перестали. Обычно наоборот – приезжал ко мне в тюрьму следователь КГБ, задавал формальные вопросы, ничего не получали уезжал. И так они к этому привыкли, что последний раз, по делу Суперфина, следователь свой допрос тем и начал: «Ну что ж, говорить вы, конечно, не будете, да нам и не надо – чисто формальные вопросы. Протокол заполним и разойдемся». Но кто их знает, может, опять будут пытаться – терпение у них собачье. Впрочем, что я теряю? Отъемся здесь немного, отдохну, над чекистами поиздеваюсь, может, даже свидание урву – и назад, в свой Владимир. Вот только заниматься здесь не дадут – придется перерыв сделать.

Тем временем шел обычный шмон – раздели, вещи ощупали.

– Ну, что? Скоро вы там? Сколько я должен голый стоять?

– Сейчас-сейчас. – И несут мне вещи совсем другие, новенькие. Костюм какой-то черный, ботинки, рубашку шелковую. Что за дьявольщина опять?

– А мои, – говорю, – мои вещи отдайте! (Особенно волнуюсь я за свою телогрейку – там лезвия, да и привык я спать под своей телогрейкой. Зачем мне их барахло?)

– Потом-потом, – говорят, – ваши вещи дезинфицировать будут, такой порядок.

– Какая дезинфекция, какой порядок, что ты мне, бес, гонишь? Ты еще в школу ходил, а я в этой тюрьме уже сидел. Лефортовские порядки знаю – никакой дезинфекции никогда не было!

Что-то не так, что-то почуял я недоброе. И улыбочка у него елейная, так и стелется. Опять подумалось мне о лесочке да о попытке к побегу, «сапоги вам больше не нужны»... Я в скандал, я в крик:

– Не нужно мне чужое – отдайте мое. Какая дезинфекция – я из другой тюрьмы приехал, а не с воли. У нас карантина нет и санобработку проходим.

Засуетились, черти, забегали. Прискакали офицеры. Вот, дескать, порядки у нас новые, обязательно дезинфекция, никак нельзя без дезинфекции. Пожалуйте в баню. Сколько ни скандалил – бесполезно. А, будь вы неладны! Застрелить – и в своем застрелите, если приказ есть.

– А вещи мои где?

– Не волнуйтесь, завтра отдадим.

– Ну, хоть зубную щетку, порошок, мыло да махорку можно взять?

– Можно, – говорят, – берите.

С тем и привели в камеру. Непривычно как-то в вольной одежде. Шесть лет не надевал, отвык, неловко. Заводят в камеру уже к ужину. Всегда вот так с этими этапами – чего-чего, а покормить забудут, потом не допросишься, проехало. Камера номер сорок. Сидел я в ней раньше. Корпусные все знакомые, надзиратели тоже – действительно как домой вернулся. Смеются: «Опять тебя прикатили!»

В камере двое. Оба следственные. Тоже странно. Не должны бы меня держать со следственными. Значит, и я тоже под следствием. Курят сигареты, угощают. Сигарет я уже давно не курил – не накуриваюсь я ими, привык к махорке. Познакомились, поболтали. Я в основном помалкиваю – кто их знает, что за люди. К хорошим людям меня не посадят. У одного на пальце золотое кольцо – странно. Заметил он мой взгляд, объяснил, что, дескать, снять не могли, не слезает кольцо. И еще того странней – что я, чекистов не знаю? С пальцем оторвут. Ну, ладно.

Спрашиваю, действительно ли дезинфекцию вещей теперь делают, – все-таки не был я здесь три с лишним года, могли измениться порядки. «Вам, – спрашиваю, – делали?» –

«Делали», – говорят. – «А что взамен давали?» – «Да тоже вот костюмчик, только не такой, как у тебя, попроще. Ишь, какой тебе шикарный выдали. Ну-ка, расстегни пиджак-то. Смотри, да он французский!» – И точно, на подкладке изображена Эйфелева башня. Стали мои соседи поглядывать на меня с любопытством: что ты за шишка такая, почему тебе такой костюм дали? Кое-как скоротали вечер. Для меня они вольные люди, всего два месяца с воли, есть о чем спросить. Отбой. Легли спать. Ребята мои поворочались-поворочались и заснули, а мне не спалось.

Происходило со мной что-то странное. Весь мой тюремный опыт говорил мне: такого не бывает, не может быть, готовят тебе ловушку какую-то, западню. Может, выведут гулять в Москву, а сами сфотографируют – вот, дескать, видите: он и не сидит вовсе, гуляет в новом костюме по улице Горького. Может, даже западным корреспондентам собираются показать издали – видите, живой! Может, добился кто-нибудь из-за границы свидания со мной? Каких только предположений я не строил! Да и Лефортовская тюрьма была для меня полна воспоминаний. Сидел я здесь четыре раза – в 63-м, 67-м, 71-м и 73-м, больше двух с половиной лет в общей сложности. В разные времена, при разных режимах и даже разных правителях. Удивительное свойство имеет следственная тюрьма – из свежего, только что попавшего с воли человека она выдавливает воспоминания. То кажется тебе, что ты только что прошел по Арбату или по Тверскому бульвару, то будто повидался с кем из друзей.

Постепенно воспоминания углубляются, и начинаешь перебирать картины детства. И словно в чистилище, где мучаются грешники своими грехами, всплывает к тебе из памяти все то, что неприятно, что хотел ты забыть и годами не вспоминал, так неотвязно, так назойливо, что аж зубами скрипишь. Точно весь осадок со дна поднимается и всплывает на поверхность сознания – мучительная это вещь и не скоро проходящая. И совестно тебе, и стыдно, и хочешь отвязаться, отогнать эти призраки – все бесполезно. Так вот, сколько ни попадал я в Лефортово, неизбежно вспоминалось детство, а с ним – наш двор, где я рос, и ведьма.

Обычно не помню я детства, хоть убей! Смутно, словно старый кинофильм, словно не моя это жизнь совсем. Какие-то картинки, обрывки. Знаю я о своем детстве больше по рассказам своих родных.

Родился я в эвакуации, на Урале, в Башкирской АССР, куда всю нашу семью вывезли из Москвы при наступлении немцев. Городок, где я родился, доставил мне в жизни много хлопот, хоть никогда я там больше не был. Во-первых, вечно путали его написание и вечно мне приходилось его диктовать по буквам всем чиновникам: Бе-ле-бей. Да не Пелепей, и не Белидей, а Белебей – черт их дери совсем, географии не знают. И все равно путали. В последнем паспорте мне-таки написали Белебель, хоть старался я изо всех сил.

А еще стоило назвать этот несчастный Белебей, эту Башкирскую АССР, как тут же вопросительно-испытующий взгляд, словно позывной у самолетов: свой-чужой – башкир или русский? И приходилось мне всю жизнь объяснять, что я не башкир, а русский, что родился просто в эвакуации, всю жизнь жил в Москве так же, как и мои родители. Потому что это не совсем безразлично людям, башкир ты или русский, а тебе не безразлично, кем тебя считают, вот и торопишься объяснить. И так это досадно, ну что бы стоило родить меня в Москве?! Просто и ясно, и вопросов никаких. Секундная неловкость, замешательство, и все, слава Богу, разъяснилось. Обычно это тут же забывается, но так уж устроена тюрьма, что выдавливает она тебе в память все постыдное. «Ага, – говорит тебе тюрьма, – ты же всю жизнь прикидывался, будто для тебя все равны: и русские, и башкиры». И так это тебя жжет, так мучает, как будто ты всех этих башкир в газовой камере уничтожил.

Конечно, узнал я впоследствии, что родился в самый разгар войны, когда миллионы людей убивали друг друга ради того, какие будут на свете концлагеря: коричневые или красные. Сам же я с тех времен ничего не помню. А самое раннее мое воспоминание – это картинка салюта победы в Москве. Кто-то поднял меня на руки к окну и сказал: «Вот, запомни это на всю жизнь. Это – салют победы». Оттого, видно, и запомнил, что сказали. А сам салют – цветные пятна, словно когда глаза сильно зажмуришь.

Рассказывают, что рос я в чемодане, так как в условиях войны ни коляски, ни кроватки достать было негде, и довольно долго, лет до двух с половиной, не начинал говорить. Родители заволновались – уж не немой ли я, но знакомый врач успокоил их, что все дело в недостатке питания и особенно сахара. Где уж потом доставали они для меня сахар, не знаю. Зато читать научился очень рано, лет в пять, в основном по газетам. Очень мне нравились газетные карикатуры, и я с охотой их перерисовывал, а потом читал подписи под ними.

Долговязый, нескладный Дядя Сэм в полосатых брюках, в цилиндре и с бородкой клинышком вместе с толстеньким Джоном Буллем в сапожках и фраке не сходил тогда с газетных страниц. Чего только с ними не происходило: то они шлепались в лужу, то их выгоняли пинком под зад какие-то дюжие ребята, а иногда даже дрались между собой. Если же появлялся непомерно толстый капиталист в черном цилиндре и с сигарой в зубах, то в руках у него непременно был огромный мешок, а на нем единица со многими нулями – чем больше, тем лучше. Иногда сквозь дырки в мешке сыпались монеты или бумажки. Если же на арене появлялся британский лев, то ему не забывали нарисовать заплатку на заднем месте или отпечаток чьего-то ботинка. И так мне нравились приключения этих персонажей, что стал я сам придумывать им новые беды. Кажется, родителей эта затея не воодушевила – во всяком случае, они пытались отвлечь меня старыми немецкими книжками с готическим шрифтом и с литографиями, которые остались от деда. Все это услужливо и ехидно напоминала мне теперь тюрьма.

Жили мы тогда недалеко от Пушкинской площади, в старом, деревянном и оштукатуренном сверху двухэтажном доме, очень типичном для Москвы. Их стояло на нашей улице три таких подряд, и еще во времена моего детства осмотрела их какая-то комиссия и определила, что для жилья они не годны. На углу каждого из них написали синей масляной краской «Д.Н.С.», что означало: «Дом на слом». Простояли они, однако, до 1970 года, и все время в них люди жили.

В нашей квартире на втором этаже жило четыре семьи, одна из них – наши родственники. Кухня же, коридор, ванная и туалет были у нас общими. Считалось, что нам еще здорово повезло: бывали квартиры и по десять-двенадцать семей, а то и вообще бараки, где семьи жили, разделенные занавесками или фанерными перегородками. Да и соседи у нас были сравнительно спокойные.

Во время войны московские жители почти все эвакуировались в глубь страны, другие же выкуренные из фронтовой полосы семьи оседали в Москве и селились в оставленных домах. После войны, когда вернулись старые жильцы, Москва оказалась переполненной. Уезжать из Москвы никто не хотел, так как снабжалась она продуктами лучше, чем провинция. Жили в подвалах, сараях, в бараках, а почти во всех квартирах ютилось по многу семей: хоть и до войны была теснота в коммуналках, а стало еще хуже. Так продолжалось до 60-х годов, но и сейчас еще больше квартир – коммунальные.

Такая жизнь порождала бесконечные коммунальные склоки, ссоры и драки. Люди не могли скрыть друг от друга малейших подробностей своей жизни, и каждый знал, что варится в кастрюльке у соседа. Любое неосторожно оброненное на кухне слово могло быть использовано в этой кухонной войне для политического доноса, особенно если это сулило возможность получить опустевшую комнату. Тяжелее всего приходилось людям интелли-

гентным, исконным московским жителям, воспитанным по-старому. Они не могли опуститься до кухонных склок, до каждодневной борьбы за жизненное пространство, да и приучены к этому не были. Воспитание требовало от них уступчивости, сговорчивости, вежливости, а повседневная жизнь – обороны. Проблема эта, если ее обобщить, стала, видимо, одной из центральных в нашем веке. Интеллигентность и вежливость стали неконкурентоспособными в столкновении с хамством, подлостью и грубой силой. Что противопоставить им? Использовать те же средства? Но тогда наступает внутреннее перерождение и обе стороны перестают чем-либо отличаться друг от друга. Оставаться собою? Но тогда наступает физическое истребление.

Не та ли проблема ощутима и в попытках западных обществ противостоять коммунизму или внутреннему терроризму? Бабушка моя, не зная, может быть, универсальности этой проблемы, стыдилась выходить на кухню, когда соседи развешивали там для просушки украденные у нее простыни. Точно так же исчезала неосторожно оставленная посуда. К счастью, очевидно, благодаря нашей уступчивости, ни скандалов, ни драк не происходило, чего нельзя было сказать о других домах в округе. То пьяный муж гонялся с ножом за женой по двору, то дрались в какой-то квартире и со звоном разлетались стекла, а то и просто сцеплялись где-то бабы и истошно материли друг друга полдня. Все это были обычные сцены.

Жили впятером в двух комнатах. Родители большую часть дня были на работе, сестра в школе, а мы с бабушкой оставались дома. Вместе мы ходили за керосином (газа еще не было, и пищу готовили на керосинках), вместе же выстаивали огромные километровые очереди за мукой. Выстоять такую очередь нужно было несколько дней, и, чтобы порядок не спутался, на ладонях писали чернильным карандашом порядковый номер. По вечерам и по утрам приходили на перекличку. Обычно стояли целыми семьями, с детьми, так как количество муки на человека было нормировано. По вечерам бабушка читала мне вслух – в основном Пушкина, Жуковского, Некрасова, сказки Андерсена или братьев Гримм. Была она уже очень старая и обычно засыпала среди чтения. Очки у нее сползали, и она начинала всхрапывать, а я теребил ее: «Бабушка, ну что там дальше? Бабушка, ну не спи!»

Иногда мы с бабушкой ходили гулять далеко. Мы шли не торопясь вдоль реки, через Красную площадь и в Александровский сад – вокруг Кремля. По камням Красной площади громыхали грузовики – пыльные и зеленые. Бабушка говорила, что они защитного цвета. Кремль возвышался таинственной твердыней, и войти в него было нельзя. Только из-за стены манили купола и башни. Бабушка рассказывала мне разные истории: и про татар, и про Ивана Грозного, и про Царь-колокол, и про Царь-пушку. Она рассказывала про царей, про бояр, и про кремлевские колокола, и как по утрам колокольный звон плыл над Москвой и празднично разодетый народ толпой валил в Кремль. А когда мы проходили мимо Спасской башни, она неизменно повторяла:

Кто Царь-колокол поднимет,
Кто Царь-пушку повернет,
Шапки кто, гордец, не снимет
У святых Кремля ворот?

Я всегда представлял себе этого гордеца – он стоял у Спасских ворот подбоченясь и глядел вверх, так высоко задирая голову, что шапка почти сваливалась. Лихой парень!

А так почти весь день проводил я во дворе. Среди всех обычных скандалов, мата и поножовщины жили мы, мальчишки, своей особой жизнью, мало обращая внимания на происходящее. Чердаки, подвалы и лестницы были нашим миром. Конечно, постоянно играли в войну, причем одна сторона были НАШИ, а другая – непременно НЕМЦЫ. Поскольку никто

играть за немцев не хотел, то каждая сторона считала, что они – наши, а немцы – другие. Двор наш из-за обилия сараев и пристроек имел множество уголков, удобных для засад.

Парни постарше гоняли голубей, обменивались ими, ловили чужих и тайком распивали водку в своих голубятнях. По вечерам они собирались группами у ворот, иногда с гитарами. Почти все они, так или иначе, занимались воровством, и атмосфера этой жизни была насквозь пропитана уголовным духом. Насколько я могу судить, таков вообще был климат в Москве в те годы.

Кумиром мальчишек был здоровенный, вечно пьяный мужик по имени Юрка, бывший борец, зачинщик всех драк. Он любил выходить во двор в майке или вообще голым по пояс, чтобы видны были его могучие бицепсы, и шел в пивную невдалеке. Там он напивался и затевал драку, неизменно оказываясь победителем. Часами он выстаивал у ворот, задирая прохожих. Среди нас ходили легенды о его силе и подвигах.

Самые скандальные и многочисленные семейства жили в подвалах. Между ними часто возникали настоящие побоища, причем иногда весь двор принимал ту или другую сторону и ввязывался в драку. В хорошую погоду выползали на солнышко какие-то бабки, ползали в пыли дети, сушилось на веревках белье, а в глубине двора, в полуподвальной комнате, жила ведьма. Самая настоящая старая безобразная ведьма с волосатой бородавкой на щеке, и нос крючком. Рассказывали, что она ни с кем не общается, даже на кухню не выходит, а готовит на керосинке у себя в комнате. Даже общим светом она не пользовалась, а сидела с керосиновой лампой. Говорили также, что по ночам она листает какие-то старые колдовские книги, которые, кроме нее, никто прочесть не может, и что-то над ними ворожит.

Действительно, много раз по вечерам, подкравшись к ее окну, можно было разглядеть сквозь грязные стекла, как она сидит у керосиновой лампы с этими жуткими книгами. Наружу появлялась она редко, и, конечно, каждое ее появление в неизменном облезлом меховом пальто и старомодной шляпе вызывало всеобщее возбуждение. Зимой мы швыряли в нее снегом, а то и льдышками, бежали за ней следом и исступленно вопили: «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Обычно уже у дверей она останавливалась, поворачивала к нам свой крючковатый нос и говорила плаксивым голосом: «Дети, какие вы злые, дети! Что я вам сделала?» И конечно же, возбуждала этим еще большую нашу ненависть.

Однажды летом к вечеру вдруг заметались по двору бабы, всполошились старухи: «Ведьма помирает! Ведьма помирает!» Большой толпой, превозмогая страх, сорвали дверь, ввалились к ней в комнату, напирая друг на друга и спотыкаясь о порог.

«Померла, померла уж ведьма-то».

Мне ничего не было видно из-за спин, я стал разглядывать стены и потолок. Пахло, как на чердаке, – пылью и плесенью. На одной стене висела большая фотография под стеклом: молодой офицер с лихими усиками и смущенно улыбающаяся девушка в белом подвенечном платье.

Долго в этот вечер не утихало во дворе возбуждение. Стояли кучками, толковали про ведьму. Какая-то древняя бабка рассказывала: «Образованная была барыня, говорят, десять языков знала. Сразу в восемнадцатом-то году жених ее сбежал на юг, к белым, офицер был, да так и не вернулся – говорили, что убили его. Она же вот все не верила, все ждала». В других же кучках толковали больше про то, что освободилась теперь комната и кому она может достаться.

Вот эту-то историю с ведьмой неотвязно вспоминал я в Лефортове – каждый раз, как попадал туда. Аж корежило меня от этих воспоминаний, и никакие оправдания не помогали. Так и виделась мне она, словно живая, когда, обернувшись у двери, в своей драной шубе, говорила плаксивым голосом: «Дети, какие вы злые, дети!»

Школа наша стояла в конце улицы, на пригорке, серое четырехэтажное здание казарменного типа. Один его вид вызывал у меня неистребимую скуку. Вся система преподава-

ния у нас возбуждает отвращение к учебе. Программы унифицированы для всего Советского Союза, утверждаются и разрабатываются в Министерстве просвещения и рассчитаны на самые средние способности, даже ниже средних. Но для слабых учеников и они непомерно трудны, а для способных – настолько скучны и однообразны, что не создают интереса и не приучают работать. Полностью исключена инициатива, своеобразие понимания – от ученика требуется слово в слово повторять, что написано в учебнике. Для успевания достаточно средней памяти.

Учатся, например, в школе с семи до семнадцати лет, то есть десять лет, да потом некоторые еще пять лет в институтах. Пятнадцать лет по всему Советскому Союзу учат язык (чаще всего английский), и никто его не знает, если только не занимаются дополнительно. Кроме какого-то десятка бессмысленных предложений, никто ничего произнести не может. Еще остается в голове смутное представление об английской грамматике, но и оно исчезает, потому что не к чему его приложить. Позже на моих глазах взрослые люди – не такие способные к языкам, как дети, – за год тюрьмы или лагеря выучивали язык вполне прилично. Здесь же просто тратилось впустую время.

Особенно были мне противны гуманитарные предметы: история, литература, даже география. Они настолько пропитаны идеологией, что от них ничего не остается. Не то чтобы эта идеология в то время вызывала у меня какие-нибудь серьезные возражения, но она делала предметы убийственно скучными. В самом деле, что интересного в истории, если все это – сплошная классовая борьба и постепенный переход к социализму? Оставалось только запомнить даты каких-то сражений, восстаний и годы жизни выдающихся революционеров.

А литература? Уже взрослым, в тюрьме, я от нечего делать перечитал Толстого и вдруг обнаружил, что это же страшно интересно. А в школьные годы я обязан был писать сочинения по его произведениям, анализировать «образы» – положительные, отрицательные – и люто ненавидел Толстого. И все эти гуманитарные советские знания я механически запоминал, механически отвечал и так же механически забывал, как большинство моих сверстников. Несмотря на все это, учился я всегда хорошо, особенно же любил математику и химию. А вот каких предметов мы терпеть не могли – это рисование, физкультуру и пение. Инстинктивно мы все чувствовали, что для этих занятий нужны особые способности, склонности или хотя бы настроение, а просто так петь или прыгать, потому что это по программе положено, – смертельно противно.

Советским детям не полагается никакой самостоятельности, они должны делать то и только то, что им сказано. Резвость, озорство, подвижность – естественные свойства нормально развитого ребенка – советская школа стремится истребить в корне, действуя нудными выговорами, наказаниями и натравливанием родителей на детей. Никому не дают остаться самим собой, всех стремятся переделать, перевоспитать, как в заведении для малолетних преступников. Это вызывает отчаянное сопротивление молодых организмов, своеобразный протест против непризнания их личности. А поскольку формально все проводится через учителя, то его изолированное положение надзирателя вызывает к нему естественную ненависть. Возникают примерно те же отношения, что в «Бурсе» Помяловского, когда учителя и ученики – смертельные враги и класс травит учителя, как только может, он же норовит их наказать или унизить, чем только возможно.

Нужно добавить, что учителя, как и врачи, у нас самая низкооплачиваемая профессия, поэтому в учителя идут по нужде, когда человеку некуда больше устроиться, да еще неудачники или неспособные к более квалифицированной работе. И еще наивные девицы, представляющие себе эту работу идиллически. Они обычно скоро убегают, затравленные и учениками, чующими в них слабость, и администрацией, требующей формальных показателей работы и слепого выполнения директив. Словом, обычное советское производство со всякими межрайонными соревнованиями и переходящими вымпелами.

Справедливости ради следует сказать, что есть и весьма незначительное число истинных энтузиастов-педагогов, людей талантливых и честных, однако их так мало, что это практически не меняет картины. Даже ученики чувствуют, что это какое-то исключение, и относятся к этим людям иначе. Обычно у таких учителей не жизнь, а каторга – они в вечном конфликте с администрацией, вечно стремятся преподавать как-то нестандартно, по-своему, не выполняют каких-то директив и указаний, постоянно получают выговоры и целый день с утра до ночи торчат в своей любимой школе. Инстинктивная любовь ребят к ним вполне понятна: с ними не так скучно, а главное – они сами гонимые, а не гонители. Средний же интеллектуальный уровень учителей в СССР часто ниже уровня учеников.

А образование обязательное, ребята, не желающие учиться совсем, вынуждены таскаться в школу каждый день и отсиживать свои часы. Им ставят двойки, их наказывают, их оставляют на второй год, но они отлично знают, что в конце концов им все равно поставят удовлетворительные оценки и они закончат школу, получат свою бумажку об окончании. И уж как их ни наказывай, что с ними ни делай, они все равно будут хулиганить – скучно же! Оставшись на второй год, они старше и сильнее всех в классе и наводят свои порядки. Словом, бурса.

Стыдно вспомнить, чего только не вытворяли мы со своими учителями. Была у нас, например, учительница истории по кличке Моржа. Звали ее так уже многие поколения школьников, оттого что росли у нее пышные усы. Человек она была, видимо, не злой, да вот беда – глуха на одно ухо, и какая уж там история! Мы весь урок норовили взорвать у нее под глухим ухом ружейный капсюль. Обычно натыкали его на перо ручки и бросали об пол с «глухой» стороны. Грохот оглушительный, а она и усом не ведет. Очень это нас забавляло. Другая учительница, по естествознанию, несчастная женщина, сказала нам как-то, что была в экспедиции, где их всех перекусал энцефалитный клещ. «Энцефалит, – говорила она нам, – это такая болезнь, от которой или умирают, или сходят с ума. У нас в экспедиции все умерли, а я, как видите, ничего, выжила». Уроки у нее иногда походили на побоища, никто на нее даже внимания не обращал с ее энцефалитом: возились, орали, играли – самое веселое время было в школьной программе.

Совершенным идиотством были уроки пения. Приходила в класс женщина со скрипкой и мелодичным голосом предлагала нам спеть песенку. Она уговаривала нас, уверяя, что мы сами не знаем, какие мы музыкальные. Она пела эту песенку сама три раза, водя смычком под горлом. Это была мука и для нее, и для нас. Попробуйте без всяких музыкальных способностей спеть, стоя перед целым классом своих товарищей! Все с нетерпением ждут твоего конфуза. Мнешься, потеешь, краснеешь, но петь невмоготу: ведь сейчас же тебя обсмеют! И говоришь со злобой сквозь зубы: «Не буду петь». Обычно все эти пытки кончались тем, что мы принимались мычать, свистеть, визжать, хрюкать в тридцать глоток на разные лады. Она же роняла скрипку и затыкала уши – ей было больно слышать такие немузыкальные звуки. На наш кошачий концерт сбегались учителя из соседних классов, и бедную женщину уводили всю в слезах.

К старой учительнице русского языка был у нас подход совершенно особый. Она была уже глубокой старухой, глуховатой, сентиментальной, и обожала птиц. Поэтому, как только начинался урок, кто-нибудь из нас начинал, аккуратно так, посвистывать по-птичьи. «Ах, – умилялась она, – скоро весна, детки, птички поют». Какое там весна, дура старая, – на дворе декабрь! Но это было только начало. Тотчас же кто-нибудь другой заявлял под птичий пересвист: «А я рогатку сделаю и буду их стрелять». Тут же русский язык и кончался – начиналась лекция о птичках: какие они полезные да как нехорошо их убивать. И удивительно, не надоедало нам каждый день слушать эти птичьи лекции. Главное же – урок проходил, никого не спрашивали, домашних заданий не проверяли.

Большинство же учителей были жестокими, бездушными машинами, беспощадно нас притеснявшими. Лучший пример – сам директор, здоровенный двухметровый детина. Он даже старшеклассников, ребят по 16–17 лет, бил по лицу публично, а уж младших-то затаскивал к себе в кабинет и там расправлялся нещадно. И все терпели – здоровые ребята сносили публичные пощечины. Только мы не стерпели, и, когда он побил кого-то из нашего класса, мы, человек пятнадцать, зашли к нему в кабинет после уроков, когда в школе почти никого не осталось. Было нам лет по 14, а некоторым и больше, страха мы не ведали, вид у нас был весьма внушительный. Мы очень быстро отключили телефон, когда он попытался вызвать милицию, и объяснили, что легко отключим и его самого, если он еще кого-нибудь из нас тронет. Поверить в это, зная тогдашнюю московскую атмосферу, было нетрудно. Он как-то сник и с тех пор обходил нас стороной.

Пожалуй, единственным человеком, пользовавшимся у всех ребят уважением, был преподаватель английского языка. Это был человек небольшого роста, со шрамом на лбу и удивительным умением внушать страх. Одевался он чрезвычайно плохо и, видимо, сильно нуждался. Вообще, было в нем что-то трагическое. Говорили, что он был ранен на фронте и вроде даже в плену побывал. Во всяком случае, зрение у него было повреждено как-то странно: видеть он мог или совсем вблизи, буквально водя носом по странице, или вдали, в конце класса. Середины же не видел – это проверялось много раз, но никто не осмеливался пользоваться его слабостью. Он входил в класс стремительно, как-то боком, на ходу открывая журнал.

«Whom shall I ask, whom shall I ask, whom shall I ask at first», – говорил он зловеще, двигая носом по журналу, и наступала гробовая тишина. «Мамочки, только б не меня!» – молился каждый. И ведь никого не бил, а все учились, даже самые ленивые, даже второгодники. Он был какой-то загадочный и оттого страшный.

Впоследствии, когда я перешел уже в другую школу, я даже нашел его адрес и несколько раз был у него дома. Жил он действительно совершенно нищенски, но это меня нисколько не разочаровало – напротив, я чувствовал в нем необычного человека и тянулся к нему. Поражало его умение общаться как бы на равных, хотя мне было тогда лет 15, а ему лет 45. Это тем более поражало, так как я знал, каким недосягаемым и страшным был он в классе. Однажды я застал его слушающим приемник, но он тотчас же его выключил, и я понял, что слушал он не московское радио. Но разговора об этом не было. В другой раз попросил он меня переснять какую-то фотографию. Я тогда занимался фотографией, но фотоаппарат у меня был самый дешевенький, не приспособленный для этих целей. Я возился целый месяц, усовершенствовал свой аппарат, изучил оптику по учебнику старшего класса, рассчитал линзы, сломал ограничитель, отвернул объектив за дозволенный лимит, но фотографию ему сделал лучше любого ателье. Я и мысли не допускал, что могу не выполнить его просьбу.

Потом мы как-то растеряли друг друга. Прошло много лет, КГБ уже собирал материал на меня, а я об этом знал, как вдруг он нашел меня сам через кого-то из моих бывших школьных сотоварищей. Мы встретились на улице, и он объяснил мне, что в школу приходили из КГБ, собирая обо мне сведения. «Я не знаю, в чем дело, и не интересуюсь, – сказал он, – просто хотел тебя предупредить, чтобы ты знал». Мы расстались, и больше я не встречал его, а жаль, человек был явно особенный, редкий.

Но, пожалуй, только два эпизода из моей школьной жизни вспоминались мне теперь чаще всего, два самых постыдных и мучительных эпизода. Один из них связан с моим пребыванием в пионерах.

Принимали нас в пионеры почти всем классом, было нам по восемь лет, и согласия у нас никто не спрашивал. А просто объявили, что такого-то числа будет прием в пионеры и

примут самых достойных. В назначенный день нас повели в Музей Революции, благо был он за углом, на улице Горького. Выстроили в одном из залов, торжественно внесли знамя, и каждый из нас должен был произнести клятву перед знаменем: «Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что буду твердо стоять за дело Ленина – Сталина, за победу коммунизма», и так далее. Затем каждому надели красный галстук, забили в барабан, заиграли в горны, а распорядитель всей церемонии, стоя у знамени, провозгласил: «Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина – Сталина будьте готовы!» – «Всегда готовы!» – хором ответили мы, и на этом церемония окончилась.

В сущности, я ничего не имел против того, чтобы быть пионером. Дело это самое обыкновенное: подходит твой возраст – становишься пионером, потом комсомольцем, а затем и членом партии. На моих глазах так было со всеми, примерно так же, как переходят из класса в класс. Дальше, однако, все оказалось хуже. Регулярно проводились пионерские сборы, какие-то смотры и линейки, и в то время, как счастливчики-непионеры шли себе домой, гулять и развлекаться, мы должны были париться на сборе и обсуждать какие-то скучнейшие вопросы успеваемости и поведения, проводить политинформации и так далее. Учителя и воспитатели при каждом случае начинали тебя упрекать: ты же пионер, ты должен больше слушаться, не делать того и сего. И всем нам давались общественные поручения: выпускать стенгазету, делать доклады, подтягивать отстающих, а главное – воспитывать других и друг друга, прорабатывать двоечников и нарушителей дисциплины. То есть, сами того не заметив, мы оказались – в нашей традиционной вражде учеников и учителей – на стороне учителей, что было противоестественно и как-то подло. С точки зрения класса, это было предательством.

Получалось какое-то раздвоение: с одной стороны, как и весь класс, мы дразнили учителей и старалось на уроке сделать им шкоду, с другой стороны, на сборах мы должны были осуждать тех, кто это делал, должны были доносить на них публично. Некоторые из нас таким образом становились просто ябедниками и возбуждали всеобщую ненависть. Большинство же лгали и лицемерили, притворялись, что ничего не знают и не видят. Все мы, однако, должны были осуждать нарушителей.

Для меня все это стало особенно очевидно, потому что – как лучшего ученика – меня назначили пионерским председателем в нашем классе. Я должен был вести эти чертовы сборы, следить за тем, чтобы все остальные пионеры выполняли свои поручения, участвовать в заседаниях пионерского руководства всей школы и тому подобное. Непосредственно мне говорили учителя, о ком я должен поставить вопрос на сборе, кого предложить исключить из пионеров или еще как наказать. Я же должен был участвовать в персональной проработке отстающих и нарушителей.

Однажды наша учительница очередной раз позвала меня на такую проработку. Как обычно, мы втроем уединились на переменке и я должен был в присутствии учительницы отчитывать своего провинившегося одноклассника. Я начал обычные в таких случаях уже надоевшие мне формальные уговоры, говорил, что он позорит всех нас, что он должен исправиться, чтобы помочь этим всей стране строить коммунизм, как вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль: фамилия этого парня была Ульянов, как и Ленина, и я начал говорить ему, что он позорит фамилию вождя, что с такой фамилией он обязан учиться, как учился Ленин, да еще добавил что-то о том, как бы, наверное, расстроился Ленин, если бы узнал о его поведении. Говорил я, видимо, очень красноречиво, убедительно и даже обидно, потому что вдруг он покраснел, сморщился и заплакал.

– Сволочь ты! – сказал он. – Гад! – Встал и ушел вон.

Учительница была в восторге от такого эффекта, хвалила меня, а я вдруг почувствовал себя действительно гадом и сволочью. Я вовсе не чувствовал, что парень кого-то позорит, и никакого зла на него не имел. Я просто привык формально произносить слова, которые от

меня требовались, и все, кому я их до сих пор говорил, понимали, что я говорю неискренне, только чтоб от меня отвязались. Никто на меня не обижался, и со всеми я был в приятельских отношениях. Наоборот, ко мне относились с уважением, потому что я никого не выдавал, а всегда делал вид, что ничего не заметил. И меня тоже никто не выдавал. Тут же я сделал ему по-настоящему больно, и это меня поразило.

Я вдруг понял, что не хочу, не могу больше играть эту дурацкую роль. Зачем? Ради чего? Почему я должен быть орудием в их руках? И я отказался. Меня уговаривали, прорабатывали, осуждали, но я настоял на своем. Я не объяснял причину своего отказа, так как, видимо, не смог бы ее объяснить, но с тех пор даже галстук перестал носить. Так делали многие: носили галстук в кармане и если старшие придирались, то украдкой, в уборной, надевали его. Всегда можно было объяснить, что он испачкался, а родителям некогда постирать.

Было мне тогда лет десять, а в четырнадцать, когда стали всех принимать в комсомол, я в комсомол не вступил. «Ты что, в Бога веришь?» – спрашивали меня с любопытством, но я опять ничего объяснять не стал. Долго ко мне приставали, потому что я хорошо учился и всех таких было положено принять в комсомол, но сделать ничего не могли и отстали. «Смотри, – говорили многие ребята, – труднее будет в институт поступить!»

Другой, не менее позорный эпизод относился примерно к тому же времени. В 1952 году началось дело врачей-вредителей, а с ними вместе и гонение на евреев. Много было разговоров, что евреев всех вышлют, потому что они враги и хотят убить Сталина. Нарастала ненависть к евреям у людей вокруг. Для нас для всех Сталин был больше чем Богом – он был реальностью, в которой нельзя сомневаться, он думал за нас, он нас спасал, создавал нам счастливое детство. На шкале человеческих ценностей не могло быть большей величины. Все хорошее приписывалось его воле, все, что мы видели плохого, к нему отношения не имело. Поэтому нельзя было придумать большего зверства, чем убить Сталина.

Я тяжело переживал происходящее. Несколько раз мне снился навязчивый сон: будто бы сижу я в огромном зале, полном народу, все аплодируют, кричат, а на трибуне – Сталин. Он только что говорил речь, и вот его прервали аплодисментами. Он берет графин с водой, наливает ее в стакан и хочет выпить. Я один знаю, что вода в графине отравленная, но ничего не могу сделать. Я кричу: «Не пей, не пей!», но мой голос не слышен из-за оваций и криков. Я хочу бежать к трибуне, но народу столько, что пробиться нельзя. Страх, что Сталина убьют, преследовал меня как кошмар, я буквально заболел от этого.

В нашей школе учились всего два еврея. Один, Иосиф, был парень довольно неприятный: какой-то заискивающий, подобострастный и в то же время навязчивый, бесцеремонный. Я не любил его, и мы не дружили. О другом же никто, кроме меня, не знал, что он еврей, фамилия у него была украинская. Он жил рядом со мной, и мы обычно шли в школу вместе. Я видел его отца и мать и знал, что они евреи. Друзьями мы не были, и наше общение ограничивалось дорогой в школу. Теперь меня мучил вопрос: неужели его родители тоже хотят убить Сталина?

Наконец одним утром чаша народного негодования переполнилась, и Иосифа начали избивать. Случилось это на перемене, на школьном дворе. А главное, стали его избивать те самые приятели, с которыми он водился, к которым больше всего лип. Толпа собралась большая, и всякий норовил его пнуть или ударить. Объяснений или призывов никаких не требовалось: все просто понимали, что его можно бить, никто за это не накажет. Несчастный же этот Иосиф вместо того, чтобы уйти после первого избиения, потащился зачем-то и школу, норовил всем своим видом показать, что он хороший, что он со всеми и нисколько не обижается. Поэтому его били и на следующей перемене, и на следующей, а он все так же, с жалкой улыбкой, продолжал липнуть к своим приятелям, и чем больше его били, тем больше он, казалось, приглашал продолжать.

Видно, он никак не мог свыкнуться с мыслью, что нет у него больше приятелей, что он один против всех. Он хотел со всеми, готов был унижаться и заискивать, терпеть побои и издевательства, только чтобы не остаться одному. Каждый раз после перемены тащился он в класс весь в крови, с распухшими губами и все пытался заговорить с кем-нибудь как ни в чем не бывало. Он верил, что теперь-то уж все кончилось, все прошло и будет по-прежнему.

На следующей же перемене начиналось все заново. Учителя только говорили ему сурово: «Пойди в туалет, умойся». И никаких расспросов.

Я не бил его. Он был настолько противен со своей жалкой, заискивающей улыбкой на разбитых губах, что я просто боялся оказаться с ним рядом. И только с тоской ждал: когда же это кончится? Хоть бы уйти догадался или убили бы его, что ли! В то же время я отлично понимал, что этот вот Иосиф никакого отношения к Сталину не имеет – не может, не способен даже думать об убийстве. За что же его тогда бьют и почему никто не прекратит это? Почему я не попытаюсь остановить? Более того, со следующего утра я перестал ходить в школу вместе со своим соседом. Я старался чуть-чуть запоздать и, выходя из дверей, искал глазами его спину. То ли мне было стыдно, то ли противно, не знаю.

Смерть Сталина потрясла нашу жизнь до основания. Занятий в школе практически не было, учителя плакали навзрыд, и все ходили с распухшими глазами. По радио без конца передавали траурные марши, и чувствовалось как-то, что нет больше власти.

Какой-то человек кричал со слезами в голосе из окна глазной больницы: «Сталин – умер, а я – здесь!»

Не слышно было скандалов и драк во дворе, и люди говорили вполне открыто: «За кого теперь пойдут умирать? За Маленкова, что ли? Нет, за Маленкова народ умирать не пойдет!»

Огромные неуправляемые толпы текли по улицам к Колонному залу, где лежал Сталин, и ощущалось что-то жуткое в этой необъятной, молчаливой, угрюмой толпе. Власти не решались ее сдерживать, загородили только рядами автобусов и грузовиков некоторые боковые улицы, и толпа текла нескончаемо. По крышам и чердакам ухитрились мы пробраться аж до «Националя», и оттуда, с крыши, я увидел море голов. Словно волны ходили по этому морю, раскачивалась толпа, напирала, отступала, и вдруг в одном из боковых проулков под натиском ее качнулся и упал автобус, точно слон, улегшийся на бок. Несколько дней продолжалось это шествие, и тысячи людей погибли в давке. Долго потом по улице Горького валялись пуговицы, сумочки, галоши, бумажки. Даже львам на воротах Музея Революции втолкнул кто-то в пасть по галоше.

В день похорон завыли надрывно фабрики и заводы, засигналили автомобили и паровозы, произошло что-то непоправимое, страшное. Как теперь жить-то будем? Отец родной, на кого ты нас покинул?

Но вот прошло почти два года, а мы жили все так же – во всяком случае, не хуже, и это само по себе было кощунством. Жизнь не остановилась. Взрослые так же ходили на работу, а мы – в школу. Выходили газеты, работало радио, и во дворе все шло по-старому – те же скандалы и драки. Сталина вспоминали все реже и реже, а я недоумевал: ведь умер-то Бог, без которого ничего не должно происходить…

В это же время, словно тяжелые тучи, поползли упорные слухи о расстрелах и пытках, о миллионах замученных в лагерях. Освободили врачей-вредителей, расстреляли Берию как врага народа, а слухи все ползли и ползли, словно глухой ропот: «Самый-то главный враг народа – Сталин!» Удивительно, как быстро поверили в это люди, те самые люди, которые два года назад давились на его похоронах и готовы были умереть за него. Казалось, они всегда это знали, только не хотели говорить. Наконец, об этом было объявлено на съезде, и все те газеты и радио, книги и журналы, кинофильмы и школьные учебники, которые так долго говорили о его гении, принялись осуждать его «ошибки» и «извращения». Все, кто

многие годы профессионально занимался его восхвалением, теперь уверяли, что ничего не знали прежде: или не знали, или боялись сказать. Я не верил тем, которые не знали, – слишком легко приняли они новое знание. Да и как можно не заметить гибель миллионов людей, гибель соседей и товарищей?

Не верил я и тем, которые боялись, – слишком большие чины получили они за свой страх. От страха можно промолчать, можно убежать или спрятаться, можно, наконец, поддакивать тому, кого боишься, но кто же заставлял их сочинять оды и хоралы, лезть в генералы и члены ЦК? От страха не получают Сталинских премий и не строят дач. Рассказывали, что на съезде кто-то послал записку Хрущеву: «А где же вы были тогда?» И якобы Хрущев, прочтя записку, спросил: «Кто это написал? Встаньте!» Никто, разумеется, не встал. «Так вот, – сказал Хрущев, – я был как раз там, где сейчас вы». Многим этот ответ нравился, многим казался убедительным – я же презирал их обоих: и Хрущева, и автора записки. Им обоим, знавшим правду, не хватало смелости сказать об этом открыто. Но оба они могли и не быть там, где требовалась смелость, никто не заставлял их быть в этом зале, вблизи власти.

Как могло случиться, что люди до сих пор боятся встать? Как мог один человек, ну пусть десять человек захватить власть и всех держать или в страхе, или в неведении? И когда же все это началось? Хрущеву казалось, что он все объяснил, на все вопросы дал ответы. Дескать, разобрались, отпустили невиновных, помянули убитых, и можно жить дальше. Для нас, в особенности же для моего поколения, вопросы только начинались. Для нас, не знавших довоенной жизни, не успевших впитать коммунистическую догму, ставились под сомнение самые основы этой жизни.

Нам уже успели внушить, что коммунизм – самое передовое учение, а Сталин – воплощение этих идей. И вдруг Сталин оказался убийцей и тираном, жутким выродком, не лучше Гитлера! Что же тогда такое эти передовые идеи, если они породили Сталина? Что же тогда партия, если она, выдвинув Сталина, не могла его остановить? Боялась или не знала – не все ли равно? Ведь даже теперь, когда все открылось, они встать боятся. Первый, самый очевидный вывод напрашивался сам собой: система, построенная на однопартийном правлении, неизбежно будет рождать Сталиных и не сможет их потом устранять, она всегда будет уничтожать попытки создать оппозицию, альтернативу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.